

Эдуард

# ТОПОЛЬ

*Игра в кино*



Эдуард Тополь

**Игра в кино (сборник)**

«Эдуард Тополь»

**Тополь Э. В.**

Игра в кино (сборник) / Э. В. Тополь — «Эдуард Тополь»,

ISBN 978-5-17-033444-5

«Игра в кино». Когда-то это были ПРОСТО ИСТОРИИ, которые Эдуард Тополь рассказывал только красивым девушкам и добрым друзьям. А теперь? Ироничные мемуары о людях, которых вы считаете уже легендами мирового кинематографа? Авантюрно-эротический роман? Необычный детектив? А теперь это – «Игра в кино». Книга, которая захватывает читателя с первого слова – и держит в напряжении до слова последнего! Содержание Игра в кино Любовь с первого взгляда Ошибки юности

ISBN 978-5-17-033444-5

© Тополь Э. В.  
© Эдуард Тополь

# Содержание

Игра в кино	5
К читателю	5
Глава 1	6
Глава 2	42
Конец ознакомительного фрагмента.	48

# Эдуард Тополь

## Игра в кино (сборник)

### Игра в кино

#### К читателю

Раньше, то есть в той жизни, когда я ухаживал за девушками, я рассказывал эти истории только им. Да и то тет-а-тет.

Потом, то есть в той жизни, когда я любил (и умел) выпить, я рассказывал их узкому кругу друзей и собутыльников. Да и то после пятой рюмки.

Но теперь я веду такую трезвую жизнь, что меня не приглашают ни на какие застолья, а девушки перешли со мной на вы.

И я решил рассказать эти истории всем.

Однако Издатель, бегло проглядев рукопись, сказал:

– Эдуард, это совсем не то, чего ждет от вас ваш читатель.

– Неужели? – воскликнул я. – Неужели мой читатель постоянно ждет от меня только детективы и триллеры? Нужно ведь и ему когда-нибудь расслабиться и почитать для души что-то светлое и романтическое.

Тут Издатель сразу загрустил и сказал:

– Может, и нужно, но на это у него нет денег. Поймите, нашим людям месяцами не платят зарплату. У них нет денег на такие книги.

– А на чернуху есть?

Издатель выразительно пожал плечами – мол, откуда-то берутся. А я подумал: если он есть, этот мой читатель, то именно для него Издатель издал бы эту книгу сразу после моей смерти. Но там, куда мы «уходим понемногу», мне будет, я надеюсь, абсолютно до лампочки, что – после моей смерти – подумает читатель о моих приключениях в кино и в жизни. А вот пока я жив...

Читатель! Когда мои книги выходили на Западе, я получал письма даже из Исландии и Японии. И отвечал старательно и как мог. А в России я не получил от читателей ни одного письма. И потому не знаю, какую вы от меня ждете книгу – детектив, лирический роман, политический триллер? Пишите мне на адрес издательства «АСТ». Ей-богу, нам пора познакомиться. И пока, для знакомства, позвольте мне первому рассказать вам о своей жизни.

Надеюсь на взаимную откровенность.

С уважением, Ваш

*Автор*

## Глава 1

### Мой французский роман

В феврале 1973 года Москва хрустела от крещенских морозов. Зимнее солнце ярко горело в безоблачном небе, золотя ту призрачную серебряно-снежную пыльцу, которая всегда висит над городом в эту пору. Игольчатый воздух сушил ноздри и знобил легкие. В такую погоду хочется колоть дрова, обтираться снегом до пояса и целоваться на лесной лыжне.

Аэропортовский автобус, весь в заусеницах инея, прокатил меж сугробов летного поля в самый конец Внуковского аэропорта и остановился перед ТУ-134. Мы, тридцать пассажиров утреннего рейса Москва – Вильнюс, высыпали из автобуса со своими чемоданами, сумками и портфелями и, наклонясь под кусающим щеки ветерком, рысцей устремились к трапу. Но не тут-то было! Из самолета вышла стюардесса в оренбургском платке, аэрофлотской шинели и меховых ботиках.

– Минуту! Посадки нет!

– Почему?

– В самолете уборка!

Действительно, за ее спиной, в открытой двери самолета, была видна толстая, в тулупе, фигура уборщицы, которая махала там веником – подметала салон. Честно говоря, я никогда не думал, что самолеты подметают вениками, ведь в то время уже были пылесосы, но – куда денешься, тот самолет подметала уборщица, и делала она это с той стержозной медлительностью угнетенной пролетарки, которая свойственна большинству уборщиц и продавщиц нашей страны. И все бесконечное время этой уборки мы терпеливо стояли снаружи, на голом летном поле, продуваемом ядреным крещенским ветерком. Минут примерно через десять к трапу подкатил еще один автобус, из него вывалилась шумная, человек в двадцать, группа инопланетян. То есть, простите, иностранцев. Но в те годы это было одно и то же, если, конечно, считать землянами не их, а нас, одетых в москвошвеевские пальто, полушубки, кожаные кроличьи шапки-ушанки и меховые ботсы. На иностранцах же – даже на мужчинах! – были длинные лисьи и норковые шубы, изысканные шведские дубленки, легкие туфли или высокие сапожки и – никаких головных уборов! Весело щебеча по-французски, они двинулись к трапу, но и им преградила дорогу строгая стюардесса:

– Stop! Посадки нет!

Французы в недоумении воззрились на свою переводчицу, та перевела, хотя особой нужды в переводе не было – сверху, из открытой двери самолета, злой веник уборщицы гнал на трап клубы пыли.

Французы попятились и стали в стороне – все вместе и все той же роскошной и весело щебечущей группой. А по другую сторону трапа, молча подмерзая от ненавязчивого аэрофлотского сервиса, стояли мы, советские. Как два чужих и чуждых друг другу мира. При этом инопланетяне были заняты сами собой и лишь изредка бросали на нас беглые взгляды, а мы зырились на них в упор и в открытую, как и подобает аборигенам. Было что-то воистину символическое в этой картине: новенький ТУ-134 на фоне заснеженного и по-русски пустынного пейзажа, под самолетом роскошные и ухоженные иностранцы по одну сторону трапа и хмурая толпа совков-аборигенов по другую, а наверху уборщица с пыльным веником...

Минуты через три созерцания этой картины – интересно, когда у французов начнут уши мерзнуть? ага, уже танцуют в своих туфельках! – я вдруг сообразил, что это скорее всего труппа парижского театра «Комеди Франсез», о гастрольях которой вчера говорили по телевизору. Ну да, у них гастрольное турне по стране, а привезли они, кажется, «Тартюфа» и «Мнимого больного», которых будут играть в Малом театре...

Гордясь своей догадкой, я стал еще пристальней разглядывать французов, пытаюсь определить, кто же из них играет Тартюфа... Впрочем, вру! Ну зачем я вру? С первой минуты появления этих французов я не сводил глаз с высокой, стройной и самой юной, лет двадцати, блондинки с живым и полным жизни лицом, ярко, под Лайзу Миннелли, накрашенными глазами и огромными черными ресницами. На ней был короткий лисий жакет, черные бархатные брюки клеш и туфли на каблуках, и она чуть ли не на голову возвышалась над мужчинами той труппы, но дело было не в ее росте или стройной фигуре, а в каком-то лихом, веселом, жизне-радостном потоке энергии, который, словно пульсируя, исходил от ее лица, смеха и жестов. А мне в ту пору было 35, и летел я в Вильнюс ни больше ни меньше как по личному приглашению Донатаса Баниониса. Что, как мне в то время казалось, означало решительный перелом в моей киношной карьере. Наконец-то, думал я, после пяти лет неудач, отчаяния и прозябания на окраинах кинематографа я прорвался в большое кино – в фильме «Открытие», который запущен по моему сценарию на Свердловской киностудии, будут сниматься самые крупные звезды советского кино: Донатас Банионис, Жанна Прохоренко, Ирина Печерникова, Миша Кононов, Володя Ивашов...

Тут следует сделать короткое отступление и представиться: мол, я, имярек и так далее, был с юности помешан на кинематографе, ради кинокарьеры бросил журналистику, окончил ВГИК и т. п. Но в действительности начало моей киношной карьеры складывалось куда занятней этого беглого перечня, и мне просто жаль втискивать это начало в несколько сухих строк introduction. А потому вернемся к фабуле моего французского романа, а с представлением героя разберемся потом.

Итак, чуть ли не все самые крупные звезды советского кино согласились тогда, в 73-м, сниматься в фильме «Открытие», причем согласились несмотря на то, что этот фильм делала Свердловская (а не столичная) студия и начинающий, а не именитый режиссер. И согласились потому, что им понравился сценарий – мой сценарий! – что наполняло меня особой гордостью. При этом легендарный Банионис поставил условие, что будет сниматься, если автор сценария прилетит к нему на несколько дней для небольшой доработки одного-двух эпизодов. Ну, от такого успеха у любого начинающего сценариста могла закружиться голова, а при головокружении от успехов, как вы понимаете, никакие морозы не страшны – даже крещенские. Ведь еще вчера я был никто, нет – хуже, чем никто, – я был автором двух провалившихся фильмов, жил без прописки по углам у своих знакомых и перебивался порой на рубль в день. А сегодня – Банионис, Ивашов, Вильнюс, Паневежис! Я снова хотел колоть на морозе дрова, обтираться до пояса снегом и целоваться на лыжной тропе! И потому даже в аэропорту я стоял тогда в легкой куртке нараспашку, а свою огромную и роскошную волчью шапку, которую за неделю до этого мне подарили на Свердловской студии, держал в дорожной сумке вместе с плиткой шоколада и парой яблок, которые я, опытный пассажир Аэрофлота, всегда брал с собой в дорогу.

А напротив, в двадцати метрах от меня, стали – я видел – уже подмерзать эти французы, ледяной панцирь летного поля уже прожег морозом подошвы их кожаных туфель, и ядреный русский ветерок уже прихватил их французские носы и уши.

А уборщица все подметала салон самолета.

А «моя» парижская блондинка уже загарцевала от мороза на ветру.

И тогда я, джентльмен советский, вытащил из сумки свою новенькую шапку-ушанку, черно-серебристый волчий мех которой был эдак сантиметров в пять толщиной, и на замерзших ногах, как на ходулях, пересек двадцатиметровую нейтральную полосу меж двух миров, прошел сквозь притихшую от удивления группу французов и, не говоря ни слова, надел эту шапку на голову изумленной блондинке. Кто-то из французов заплодировал, сама блондинка что-то зашебетала в знак не то протеста, не то благодарности, но я не понимал по-французски ни слова, а потому повернулся и пошел прочь, к «своим».

Правда, и стоять белой вороной среди притихших «своих» было тоже неловко, и я отправился бродить по летному полю, делая вид, что меня вообще интересуют отнюдь не французенки, а стоящие на соседних стоянках «антоны» и «тушки».

Минут через пятнадцать, когда от мороза у меня уже ломило уши и онемели колени, уборщица покинула наконец самолет, спустившись по трапу с видом Хрущева, отправляющегося в отставку, и французы тут же ринулись в спасительное тепло. Издали я видел, как «моя» парижанка оглянулась на верхней ступеньке трапа, ища, наверное, хозяина волчьей шапки, но я поспешно отвернулся к шасси какого-то ТУ, показывая свою полную индифферентность. И только когда вслед за французами и наши пассажиры – все до последнего – зашли в самолет и стюардесса взбежала по трапу и стала закрывать дверь, я на почти отмерзших ногах вернулся к самолету.

– Быстрей! Закрываю! Где вы ходите? – крикнула мне стюардесса.

Я поднялся в самолет. Весь первый салон был занят иностранцами, а аборигены сидели в хвостовом салоне, и мне пришлось идти сквозь ряды французов, уже оттаявших в самолетном тепле и оттого снова защebetавших на своем «же-ву-ля-фам», как птицы на весеннем базаре. Возможно, часть их щебета имела отношение и ко мне, но я прошел сквозь этот гомон, не поднимая глаз и так быстро, что едва успел заметить свою блондинку в седьмом ряду, у окна. А она меня, я думал, и вовсе не заметила, что слегка ущемило мое самолюбие.

Тут взревели турбины, зажглась грозная надпись: «НЕ КУРИТЬ! ПРИСТЕГНУТЬ РЕМНИ!», стюардесса раздала конфеты-сосульки, и новенький ТУ-134 рванулся от грешной московской земли – резво и мощно, как молодой скакун из постылой конюшни. От его крутого взлета нас даже вжало в сиденья. Но едва мы взлетели и ТУ стал на свою поднебесную беговую дорожку, а на табло погасла грозная надпись насчет «не курить» и «пристегнуть ремни», как из первого салона вынырнула французская переводчица с моей шапкой в руках. Найдя меня взглядом, она подошла ко мне:

– Это ваша шапка? Спасибо.

– А кто эти французы?

– Это труппа «Комеди Франсез», – подтвердила она мою догадку. – У них турне по Союзу – Вильнюс, Питер и Москва. Хотите с ними поговорить?

– Нет, спасибо.

Разве мог я признаться, что не говорю ни по-французски, ни по-английски, вообще ни на каком «же-ву-ля-фам», кроме русского?

Переводчица ушла, а я всю дорогу пытался сосредоточиться на своем сценарии и сообразить, какой именно эпизод не устраивает Баниониса. И не то чтобы меня уж очень беспокоила необходимость поправок, за три года «пробивания» сценария сначала через Госкино РСФСР, а потом через Госкино СССР мне пришлось сделать в нем такое количество переделок, что первоначальный замысел превратился чуть ли не в свою полную противоположность и я даже не совсем понимал, почему наши лучшие актеры так легко соглашались играть в этом фильме. Но все-таки Банионис это тебе не редактор Госкино, говорил я сам себе, достав из сумки свой сценарий, давай пройдемся по эпизодам...

Однако ничего не получалось! Высокая блондинка в бархатных брюках в обтяжку, с живым и веселым круглым личиком и огромными черными глазами Лайзы Миннелли застала мне мой сценарий и не давала сосредоточиться. Тревожный внутренний озноб – первый признак влюбленности – холодил душу, как игольчатый московский воздух совсем недавно холодил легкие. И я уже клял себя за то, что не пошел с переводчицей в первый салон знакомиться с той блондинкой. Черт его знает, а вдруг и через переводчицу я смог бы затеять какой-нибудь умный разговор о кино, о Мольере, о французских режиссерах. И якобы между прочим вставить, что у меня, мол, сам Банионис снимается! Показал бы свою образованность, олух эдакий! А теперь поздно, теперь уже не погрешься туда со своим «Здрате, я ваша тетя, не хотите

ли познакомиться с преуспевающим советским драматургом?». А в Вильнюсе эти французы выйдут из самолета первыми и укатят – ты ее даже не увидишь, растяпа!

Однако судьба любит олухов, поверьте, я проверяю это уже полстолетия. В Вильнюсе, когда нас, советских, выпустили из самолета куда позже французов и я, обреченно вздохнув по поводу своей тупости, вышел на трап снова последним, я вдруг увидел всю эту группу французов прямо перед собой. Оказывается, по случаю их прилета самолет подкатил вплотную к аэровокзалу, где стояла небольшая трибуна, с которой литовский министр культуры приветствовал прибытие труппы театра «Комеди Франсез» на литовскую землю. При этом он, хотя и *министр* культуры, читал свою речь насчет укрепления литовско-французских культурных связей тоже через переводчицу. Но я не стал его слушать, а, проходя мимо французов, отыскал взглядом свою блондинку. Черт возьми, она стояла возле самой трибуны и – спиной ко мне! Что делать?

Да, господа, иногда и олухов посещают светлые мысли. К сожалению, это случается реже, чем нам хотелось бы, но все же...

Я остановился, открыл свою дорожную сумку, вытащил из нее большое ярко-красное яблоко и – «Пардон! Пардон!» – плечом раздвинув ряды французов, вручил его своей вторично изумленной блондинке. Поверьте, это было очень красивое яблоко. Я не знаю, какое яблоко вручил Еве змей-искуситель в раю, но думаю, что мое яблоко выглядело не хуже. Во всяком случае, на этот раз моя французенка, глядя на это яблоко, просто онемела и изумленно захлопала своими огромными ресницами. Между тем на трибуне литовский министр продолжал свою официальную речь насчет дружбы народов и культур, и тут моя французенка, придя в себя, вдруг глянула мне в глаза долгим, пылливо-вопросительным взглядом. Но я уже повернулся и пошел прочь, к выходу из аэропорта на стоянку такси.

Я уходил, унося в душе этот ее враз посерьезневший вопросительный взгляд – тот самый взгляд, которым женщины отмечают свой неожиданный интерес к мужчине, спрашивая «А может быть?» не столько у объекта этого интереса, сколько у самих себя. Да, я знал цену и силу этого взгляда – именно так одна из эпизодических героинь моего сценария «Открытие» посмотрела однажды на героя фильма академика Юрышева, которого предстояло играть Банионису. И этот взгляд так возмутил заместителя министра кинематографии РСФСР Глеба Нифонтова, что он не только зарубил первый вариант сценария, но еще и пригласил меня в свой роскошный кабинет в Китайском проезде, вытащил из ящика стола толстый блокнот и, горой нависая над своим письменным столом, зачитал мне 28 (двадцать восемь!) страниц своих замечаний по поводу практически каждой сцены в моем семидесятистраничном произведении. При этом все его замечания сводились к тому, что «в вашем сценарии, молодой человек, все персонажи постоянно проявляют друг к другу какой-то нездоровый сексуальный интерес. Вот вы пишете тут, что академик Юрышев летит в Заполярье на испытание какой-то сложной и чуть ли не ядерной установки, а в самолете, в ночном рейсе, когда все пассажиры спят, на него с каким-то странным интересом смотрит юная девушка, сидящая напротив. Что вы хотите этим сказать? И почему этот рейс ночной? Зачем вы создаете этот интим? Почему во всех ваших сценах, даже в самых рабочих, присутствует это сексуальное напряжение?»

Помню, я в упор смотрел на этого борова от советской культуры, пытаюсь найти в его кирпичном лице хоть намек на затаенную иронию, но не находил ничего, кроме тупой выразительности штукатурки. Все кинематографисты страны злословили в те времена за его спиной о том, что этот управляющий российским кинематографом создал в своей жизни лишь один фильм – дипломную вгиковскую десятиминутку о вреде аборта под названием «Ах, зачем я это сделала!» и был при этом мужем одной из самых красивых женщин страны – актрисы Руфины Нифонтовой, и никто не сомневался в том, какими талантами он покорил сердце и все прочие части прекрасного тела Руфины. И вот именно этот Нифонтов теперь кастрировал мой сценарий! Но, может быть, даже ему – специалисту по киноабортам – не удалось тогда эта операция,

не зря же все звезды советского кино, которым послал свердловский режиссер Халзанов мой сценарий, тут же согласились в нем сниматься!

Я вышел из вильнюсского аэровокзала, унося в душе, как первую победу, взгляд юной парижанки, полный напряженно-вопросительного интереса к моей особе! Если и в самом деле существует, как говорят ученые, «третий глаз», которым люди мгновенно опознают среди тысяч встречных ту или того, кто предназначен им судьбой, то я могу сказать, что мой «третий глаз» опознал такую в той француженке, а ее «третий глаз» на универсальном языке телепатической связи ответил мне серией многоточий и вопросительно-восклицательных знаков.

С этой душевной добычей я подошел к стоянке такси, дождался машины и сказал водителю:

– Вообще-то мы поедем на автовокзал к автобусу в Паневежис. Но сначала – вы видите этот интуристовский автобус? В него садятся иностранцы, видите? Так вот, поезжайте за ними, я хочу знать, в какой гостинице они остановились.

– А кто они? – спросил шофер.

– Это французы, артисты, парижский театр. Их встречал ваш министр культуры.

– Ну, тогда они только в правительственной будут жить, нигде больше, – уверенно ответил шофер, трогая машину вслед за отчалившим из аэропорта «Икарусом». – Это на горе, новая цэковская гостиница, туда всех иностранцев селят.

Он оказался прав – спустя десять минут автобус с французами взвился по горе над Вильнюсом и остановился под бетонным козырьком новенькой многоэтажной гостиницы, от которой даже снаружи несло всем импортным – размерами окон, глянцевого обработкой стен, плавным изгибом фасада. Французы высыпали из автобуса и ушли в отель, а я укатил в такси на автовокзал...

В тот же вечер, далеко за полночь, мы с Банионисом выпили все спиртное, какое было в его доме. Я не знаю, как это получилось, – ни я, ни тем более Донатас не были пьяницами, и я никогда не знал за собой способности выпить враз такое количество алкоголя. Но, может быть, в тот вечер наша интуиция (или «третий глаз»?) как-то сразу перевели нас из области осторожного знакомства в сферу полного доверия и ожесточенной критики советской власти, и по этому случаю Донатас настежь открыл дверцы своего бара, где на манер ракетных снарядов торчали бутылочные головки армянских и французских коньяков, финской водки, крымских ликеров, молдавских вин и рижских бальзамов. Согреваемые эликсирным теплом этих напитков, мы принялись обсуждать мой сценарий, Донатас стал выспрашивать, кто такой академик Юрышев и откуда он взялся, и тогда я рассказал ему историю своего собственного тайного открытия – почти археологического. Еще в студенческие годы, во время учебы на сценарном факультете ВГИКа, я к нищенской своей стипендии (22 рубля в месяц) подрабатывал журналистикой. Будучи внештатным корреспондентом «Комсомолки» и «Литгазеты», я получил тогда доступ в спецхран Ленинской библиотеки – ну, не в самый, конечно, секретный отдел этого спецхрана, но в «девятую» (если мне память не изменяет) комнату, где сидели только профессора и академики и откуда можно было попасть в служебную картотеку – то есть полную картотеку книг, имеющихся в библиотеке.

А время было – 1963–1965 годы, разгар хрущевской оттепели, и библиотекариши смотрели сквозь пальцы на то, что именно заказывала «девятая» комната, – важно было лишь отыскать нужную книгу в картотеке, правильно заполнить формуляр-требование, и вы могли получить что угодно – и Фрейда, и Троцкого, и Шустова, и Бердяева. Но меня в ту пору интересовала история Сибири и Заполярья, куда я постоянно летал в командировки то к первооткрывателю тюменской нефти Фарману Салманову, то на алмазные прииски Якутии, то в Хибинны...

И вот, роясь в «Сибирских вестниках», «Отчетах Географического общества Его Императорского Величества...» и прочих пожелтевших узкоакадемических изданиях, я наткнулся

на фантастическую по занимательности историю открытия Норильского месторождения редких металлов. Даже сейчас, спустя тридцать лет и не имея под рукой своих рабочих блокнотов (они погибли-пропали на Шереметьевской таможне во время эмиграции из СССР), я могу почти уверенно пересказать многие эпизоды, поразившие тогда мое воображение. Представьте себе постреволюционную Россию 1917–1919 годов, Гражданскую войну, восстание чехов в Сибири, армию Деникина на юге, англичан в Мурманске и Архангельске и армию адмирала Колчака в Омске. И вот в этом Омске появляется молодой геолог из Питера Николай Урванцев – высокий, веселый и напористый здоровяк. Он добивается приема у самого Колчака и рассказывает адмиралу о перспективах открытия угля в Заполярье – мол, с помощью этого угля можно будет преодолеть Северный морской путь! И – из золотого запаса колчаковского правительства получает деньги на экспедицию для поисков угля и меди у берегов Северного Ледовитого океана. А вечером того же дня в местном офицерском ресторане Урванцев знакомится с юной женой какого-то штабного полковника и – прямо из ресторана, от мужа-офицера увозит ее к себе на квартиру. А еще через пару недель эта юная питерская аристократка отправляется с Урванцевым по Енисею на север, к берегам Ледовитого океана – искать уголь и медь! Честное слово, это чистая правда, я не только своими глазами вычитал это в пожелтевших книгах Ленинской библиотеки, но и держал в руках отчет-дневник той экспедиции, написанный самим Урванцевым и его молодой женой.

Именно этот дневник потряс меня больше всего. Почти два месяца – с конца мая по июль – отряд Урванцева на лодках, лошадях и оленях добирался с полным геологическим снаряжением и запасом продовольствия до заполярных тундр в районе нынешнего Норильска. Где-то здесь, знал Урванцев, еще в конце прошлого века существовали небольшие угольные и медные копи, потом полностью заброшенные. Он нашел эти копи только к осени, накануне наступления зимы и полярной ночи, когда пора было отправляться обратно. Но Урванцев не мог возвратиться из экспедиции, ничего не сделав! И он уговорил своих рабочих (и жену) остаться в Заполярье на зиму! То была первая в истории зимовка геологов за Полярным кругом. Они построили какую-то хижину-хибару (на фото эта хижина была ниже человеческого роста) и всю зиму бурили в тундре геологические шурфы – искали уголь и медь.

Знаете, если бы я сам не бывал в Заполярье, возможно, эта история и не произвела бы на меня особого впечатления. Но в том-то и дело, что именно в ту пору я уже изъездил на вездеходах и оленях и облетел на вертолетах чуть не весь Ямальский полуостров и хорошо знал, что такое Заполярье зимой. Это – доисторическая жуть абсолютно голого замороженного марсианского пейзажа, это – минус пятьдесят по Цельсию и ветер, сдувающий с ледяных торосов коросту снежной пыли и режущий вам этой пылью лицо, глаза, легкие. От ледяного ветра и холода не спасают ни меховые комбинезоны, ни ненецкие парки. После нескольких минут пребывания в этом чудовищном морозильнике вам хочется только одного – срочно, немедленно домой, к теплу, к батарее парового отопления, к стакану горячего чая. За любые деньги!

Как можно было удержать тут на всю зиму рабочих и юную жену – я не знаю.

Но к весне рабочие Урванцева взбунтовались. И не только потому, что у Урванцева уже нечем было платить им жалованье, но и вообще – им тут все обрыдло, они рвались к жене начальника или домой, на материк! И теперь Урванцев и его юная жена ложились спать, держа в спальном мешке браунинг, а рядом – охотничий карабин. А затем, весной, большая часть рабочих сбежала, а жена Урванцева – одна! – пешком (пешком! из Дудинки!) отправилась в Омск просить у Колчака денег на продолжение экспедиции. Но Колчака уже не было в Омске и вообще – в живых. 7 февраля 1920 года большевики расстреляли его в Иркутске. И тогда Урванцева отправилась из Сибири в Москву, пробилась там к наркому Орджоникидзе, показала ему образцы заполярных руд и – представьте себе! – теперь уже от большевиков получила деньги на разведку угля и меди в Заполярье!

И в то же лето эта фантастическая женщина проделала обратный путь: Москва – Енисей – Заполярье. Пешком, на лодках, на лошадях, на оленях. С новым отрядом рабочих, с новым запасом продуктов...

Теперь, став значительно старше и, возможно, несколько умней, я понимаю, что сценарий нужно было писать именно о ней, а не об Урванцеве. Но в те бездомные и нищие годы я занят был самоутверждением и меня интересовала *цена прорыва* – стоимость, которую ученый платит за свое открытие. Открытие Норильского полиметаллического месторождения обернулось для Урванцевых сначала громкой славой, а потом, в 1937-м, арестом и ссылкой на каторжные работы туда же, в норильские рудники. Но помимо этого типичного и даже символического для тех лет поворота событий была в том открытии и еще одна любопытная подробность. Черт возьми, думал я, а кто же был *самым первым* открывателем норильских руд и угля? Кто заложил здесь самые первые угольные шахты и копи, к которым так стремился Урванцев? Почему Урванцев был так уверен в том, что здесь, в норильских тундрах, лежат *промышленные* запасы редких металлов и угля – то есть не какие-то мелкие жилы, а мощные пласты? В конце концов, кем он был тогда, этот Урванцев? Юным двадцати(с-чем-то)летним адъюнкт-геологом, желторотым выпускником не то Московского, не то Петербургского университета...

Я еще глубже зарылся в картотеку Ленинской библиотеки и в пожелтевшие пыльные фолианты геологических сборников Сибирского отделения Академии наук. И через месяц выкопал наконец сведения о самых первых норильских медных и угольных копиях, которые, оказывается, были заложены там сибирским купцом и промышленником Стасовым в самом конце девятнадцатого века. Но что это мне давало? Точнее, что это могло дать молодому Урванцеву? Как эти несколько строк в огромном фолианте Сибирского отделения Академии наук – даже если они и попали тогда на глаза юному адъюнкт-геологу – могли вдохновить его мчаться из Москвы в Сибирь, к Колчаку и уговаривать министров колчаковского правительства выдать ему, мальчишке, чуть ли не миллион золотых рублей на заполярную экспедицию?

Я чувствовал, что здесь есть какой-то пробел, какая-то загадка, которую не раскрыли даже мемуары Урванцевых, опубликованные крошечным тиражом после их реабилитации в шестидесятые годы. И тогда я взял в «Комсомолке» командировку в Норильск и там, на окраине этого самого северного в мире города на сваях, нашел местного «Пимена» – бывшего зека, оставшегося тут после освобождения из лагеря. Такие «Пимены» – фанаты краеведческой истории – есть в каждом городе, и Норильск не оказался исключением из этого правила. Я пришел к этому старику, который и летом сидел в своей квартире в валенках, и после третьего стакана чая сказал ему в упор:

– Я в восторге от подвига Урванцевых. Я преклоняюсь перед их мужеством и героизмом. Я немею, когда читаю, как везли их сюда зеками в 1938 году – на каторгу и именно в тот город, который возник благодаря их открытию! Но мне не дает покоя одна загадка – что привело сюда Урванцева в самый первый раз? Откуда Урванцев узнал об угольных копиях факторщика Стасова?

– А в самый первый раз Урванцев был здесь еще в студенческие годы, с сыном факторщика Стасова – как бы на геологической практике, – сказал мне этот старик, и в тот же миг все стало на свое место, и первый вариант фильма «Открытие» разом стал раскручиваться за окном той норильской квартиры на фоне полярных сопков, покрытых на верхушках свежим июньским ягелем, а в низинах – пролежнями лежалого прошлогоднего снега. Словно сдвинулись фигуры на старой пожелтевшей фотографии, ожили, заговорили ломкими от мороза голосами и схлестнулись в яростной борьбе за тундру, за власть, за женщину...

Я улетел в Москву и за пару недель написал первый вариант сценария, который, наверное, уже давно сгнил где-то в архивах Свердловской киностудии. Но мне не жаль его – это был, я думаю, лишь поверхностный набросок. Впрочем, студия забрала его тогда вовсе не из-за художественных недостатков. А потому, что к тому времени, к 1972 году, уже закончилась

хрущевская оттепель, наступила пора нового закручивания гаек, и сценарий о бывших зеках, даже если они первооткрыватели заполярных месторождений, первопроходцы Новой Земли и герои других арктических эпопей, был уже, как тогда говорили, «непроходим».

Но вот второй вариант этого сценария мне жаль от души. Потому что, вынужденный переделывать свое «Открытие», я оторвался от реальной истории и свернул совсем в другую колею – стал искать знакомства с современными учеными, познакомился и подружился с академиком Кнунянцем, основателем советской химии фтора, побывал в его и в других научных институтах, а затем заперся под Москвой в коттедже большевского Дома творчества Союза кинематографистов и написал сценарий о том, как юный и ярый коммунист-ученый Сергей Юрышев, открывший в двадцатые годы заполярное месторождение цветных металлов, делает в тридцатые годы открытие, которое может стать основой создания абсолютного оружия, чем-то вроде не то атомной, не то водородной бомбы. Но... будучи уже членом правящей элиты и видя, во что выродился большевистский режим, он скрывает это открытие от Сталина, от советской власти и вообще от всего человечества. Скрывает, чтобы не дать «вождю народов» оружия для завоевания всего мира.

Однако проходит время, вырастает и становится ученым его сын, и – уже в шестидесятые годы – этот сын находит старые тетради отца и с напором юного Урванцева прет к созданию тяжелого анселия... Иными словами, в 20-е годы Сергей Юрышев подарил коммунистам медь, молибден, серебро и уголь Заполярья, а в 60-е его сын рвется подарить им абсолютное оружие, но отец, старый сынч и академик, пытается помешать этому...

Летом 1972 года директор и редактор Свердловской киностудии прилетели в Москву познакомиться с новым вариантом моего сценария и – сначала электричкой, а потом автобусом – добрались до большевского Дома творчества. На веранде коттеджа я накрыл им чай, поставил вазу с овсяным печеньем и стал читать высоким гостям свое произведение, построенное на приеме расследования сотрудниками КГБ обстоятельств сокрытия академиком Юрышевым своего изобретения от советской власти. В летней тишине, которую я считал признаком полного успеха, я залпом, за полтора часа прочел им все восемьдесят страниц. Сегодня, при всем моем умении, добытом в работе над десятью романами, я не могу описать вам мертвую паузу, которая воцарилась на той веранде, когда я дочитал последнюю страницу. Впрочем, когда я ВСЛУХ прочел то, что написал, я и сам допер до понимания, насколько антисоветски все это получилось. Протяжный гудок дальней электрички, пролетевшей за речкой Яузой к Москве, лишь подчеркнул тягостность ситуации. Директор студии крикнул, нахлобучил свою потертую шляпу и ушел не попрощавшись. Следом за ним осторожно, как палату покойника, покинул мой коттедж и молодой свердловский редактор. А я остался один на один со своим сценарием, гадая, могут ли меня арестовать за то, что я СОЧИНИЛ сокрытие важного научного изобретения от советской власти?

Но никто меня не арестовал, конечно, время было уже не то, и – больше того! – директор Свердловской киностудии даже прислал мне второй аванс – аж тысячу рублей! – для новой переделки сценария. Именно этот третий вариант (с ампутированными антисоветскими диалогами) и был – после косметических кастраций Нифонтова – принят Госкино СССР, запущен в производство на Свердловской студии и направлен Банионису с предложением сыграть главную роль. Но Донатас Юозович своим, так сказать, абсолютным слухом гениального актера тут же уловил в нем провалы недомолвок, недосказанности и рубцы хирургических швов.

И в два часа ночи, подстегивая себя спиртным, мы, словно два заговорщика, шепотом – потому что жена Донатаса Она (ударение на букве «О», пожалуйста) уже давно ушла спать, – сочиняли, как без слов и без новых сцен донести до зрителя хотя бы часть того, что вылетело из сценария при переделках.

Тут я должен остановиться для честного признания. Глядя с расстояния в двадцать лет на себя, тридцатипятилетнего, и на одного из лучших советских актеров того времени, уже прославившегося фильмами «Никто не хотел умирать», «Мертвый сезон», «Солярис», «Бетховен» и т. д., – глядя отсюда на нас двоих, сочиняющих в ночном Паневежисе какие-то сценки и реплики с тайным подтекстом, я должен сказать: да, никто силой не заставлял нас подделываться под вкусы Нифонтова, Павленка, Ермаша, Демичева, Сулова и Брежнева. Никто не арестовывал за антисоветские диалоги, не отправлял в ГУЛАГ, и вообще я не знаю ни одного сценариста, который бы попал в КГБ за то, что он написал. Иными словами, я мог бы и не переделывать этот свой лучший – второй – вариант сценария, я мог бы проявить принципиальность и – что? Засунуть его даже не в ящик своего письменного стола (у меня в то время такого и не было), а в чемодан?

Нет, господа, я не оправдываюсь за свой конформизм – ни перед вами, ни перед самим собой. В отличие от романа или пьесы сценарий, даже самый лучший, живет кошачьей жизнью – от силы десять лет. За это время он либо прорывается на экран, либо – гибнет. Такова специфика кино, такова специфика нашего ремесла, и перед каждым сценаристом всегда стоит одна и та же дилемма: гордо отказаться калечить свой сценарий в угоду министру кино, редактору студии, продюсеру или режиссеру и тем самым похоронить его навсегда или – путем конформизма, косметических или даже хирургических операций – протащить на экран хотя бы часть задуманного. Талант лучших советских драматургов тех лет – Гребнева, Фрида и Дунского, Шпаликова, Григорьева и еще нескольких – заключался не только в умении замечательно сочинять, но и в мастерстве «упаковки» своих идей в приемлемую для власти форму...

Честно скажу, я этим мастерством в ту пору не обладал, я только учился этому. И в ту ночь в Паневежисе нам с Донатасом казалось, что мы вернем в картину тот ее сокровенный смысл, который был заложен во втором варианте сценария. В связи с чем мы к пяти утра истребили все содержимое бара и улеглись спать в кабинете Донатаса – он на диване, а я на раскладушке, которые нам еще с вечера постелила предусмотрительная Она. А в восемь утра Она же нас и разбудила.

– Эдвард, – сказала она на литовский манер, – извините, мы с Донатасом должны ехать в Вильнюс на спектакль театра «Комеди Франсез». К сожалению, мы не можем взять вас с собой, у нас только два билета. Но завтра мы вернемся...

– Ничего, я поеду с вами, – сказал я бесцеремонно. – Я достану себе билет.

И стал поспешно одеваться.

– Извините, – снова сказала вежливая Она, – это совершенно не есть возможно. Сегодня открытие гастролей, первый спектакль, и там такое делается – даже Донатас не сможет достать вам билет! А он член правительства.

– Он не сможет, а я смогу! – нагло заявил я, еще не имея ни малейшего представления, как я это сделаю. – Единственная просьба, Донатас. Раз уж вы член правительства, помогите мне там устроиться в гостинице.

И я рассказал им о своем самолетном романе с юной актрисой театра «Комеди Франсез».

– Она на меня так посмотрела! Я должен попасть на этот спектакль! – заключил я свой рассказ.

Жена Донатаса вопросительно посмотрела на мужа.

– Ну, если речь идет о любви с первого взгляда, то я, конечно, попробую достать вам билет, – сказал Донатас. – Секретарь ЦК по идеологии – мой друг. Но боюсь, что и он...

В одиннадцать утра белая «Волга» Баниониса причалила к зданию ЦК компартии Литвы. И сразу же, еще в проходной, я понял, что такое настоящая слава. Едва мы вошли в ЦК, как все милиционеры расплылись в улыбках, из каких-то дверей высунулись любопытные лица

коменданта, гэбэшников, уборщиц и машинисток и восторженный шепот, как трепет, унесся из проходной по холлу:

- Банионис!..
- Донатас пришел!..
- Банионис!!!...

И пока мне выписывали пропуск, Донатас, смущенно улыбаясь, стоял посреди холла, отвечая на улыбки, приветствия и возгласы восторга.

Потом мы лифтом поднялись не то на третий, не то на четвертый этаж, и там повторилось все то же самое: из всех дверей высовывались лица секретарш, референтов, инструкторов:

- Банионис!!!
- Здравствуйте, Донатас Юозович!..

Мы шли по коридору вдоль строя восторженных поклонников и поклонниц, и слава Баниониса освещала меня своими протуберанцами, и я даже физически ощущал у себя на голове тоже нечто вроде лаврового венка – потому что и на мне останавливались заинтересованные взгляды секретарш и референток.

В просторном кабинете секретаря ЦК по идеологии подтянутый мужчина лет сорока пяти стремительно поднялся нам навстречу, пригласил в кресла, спросил у Донатаса:

- Ну, как дела? Где сейчас снимаешься?
- Да вот, – сказал Донатас, – принял предложение Свердловской киностудии...
- Свердловской? – изумился секретарь.
- Сценарий мне очень понравился, – словно оправдываясь, сказал Донатас, – вот автор, привел к тебе познакомиться...

– Поздравляю! – сказал мне секретарь, и я почувствовал, как в его глазах мой вес враз удвоился или даже утроился. – Донатас наше национальное сокровище, и если он согласился сниматься в вашем сценарии...

– Ладно, перестань, – сказал ему Донатас. – Но мне нужна твоя помощь. Сегодня спектакль «Комеди Франсез», у меня с женой есть билеты, а у моего гостя – нет. Можешь что-нибудь сделать?

Лицо секретаря враз потухло и приняло скорбно-замкнутое выражение, он отрицательно покачал головой.

- Всего один билет... – сказал Донатас.
- Донатас Юозович, при всем моем уважении... Вы знаете, сколько людей в этом здании не получили билеты?

– Я понял, вопрос снят, – быстро сказал я, чувствуя, в какое неловкое положение поставил Донатаса своей идиотской настырностью. – Но, может быть, вы мне поможете с гостиницей? На одну ночь...

– О, это пожалуйста! – облегченно сказал секретарь и тут же потянулся к телефонной трубке: – Гостиница «Вильнюс», в самом центре...

- Если можно, я хотел бы не «Вильнюс», а правительственную, на горе.

Секретарь замер с трубкой в руке, повернулся ко мне:

- Почему? «Вильнюс» – наша лучшая гостиница.
- Я предпочел бы на горе, с видом на Вильнюс. Знаете, я первый раз в вашем городе, и если есть шанс полюбоваться утром на Вильнюс с высоты...

Секретарь усмехнулся:

– Хорошо. Позвоните мне в два часа. Я выясню. Но если не получится, придется вам переночевать в «Вильнюсе». Ладно?

- Лучше бы все-таки на горе, – сказал я и прямо посмотрел ему в глаза.

Не знаю, что он прочел в моем взгляде, но он сказал: «Постарайся», и весь наш обратный путь до машины Донатас выговаривал мне за эту наглость:

– Это ЦК партии! Он второй человек в республике! А вы с ним говорили, как с комендантом!

– Ничего, я же сценарист Баниониса! Пусть потрудится. Интересно, где он будет выяснять, можно ли поселить меня в цэковской гостинице? В КГБ, что ли?

– Тс-с-с! Пошли отсюда!

Донатас довез меня до оперного театра, украшенного гигантским транспарантом «ГАСТРОЛИ ПАРИЖСКОГО ТЕАТРА „КОМЕДИ ФРАНСЕЗ“», но желания пойти со мной к директору театра за билетом не выразил. И я не стал просить его об этом, я видел, как неприятно было ему – ему! Банионису! – нарваться на отказ в ЦК. К тому же очередь к директору театра была еще с улицы – по лестнице и на второй этаж!

Но я выстоял эту очередь, благо она двигалась стремительно, потому что директор театра отказывал всем подряд, это было видно по лицам людей, покидающих его кабинет. Я вглядывался в их огорченные физиономии – то были литовские номенклатурные работники и интеллектуалы, московские и питерские командированные, и все они выглядели куда презентабельней меня – в дорогих дубленках, меховых шубах и в пальто с бобровыми воротниками...

Но я должен, должен был попасть на этот спектакль – и не только ради своей возлюбленной француженки, но и чтобы не упасть в грязь лицом перед Банионисами. И я судорожно перебирал в кармане куртки свои удостоверения – членский билет Союза журналистов, членский билет Союза кинематографистов, временное удостоверение «Комсомольской правды» и старенькое, потертое удостоверение «Бакинского рабочего», где я работал десять лет назад. Что предъявить? С какой карты пойти? Ведь на весь разговор у меня будет от силы двадцать секунд, и если я с первой секунды не завладею вниманием этого литовца, сидящего за тяжелой дверью... Но ведь и у тех, кому он отказал, ксивы не хуже моих, а то и еще весомей! Значит, не в ксивах дело. И вообще это Литва, тут в гробу видали московские ксивы...

Я шагнул в большой, заставленный тяжелой старинной мебелью кабинет с окнами, занавешенными глухими бархатными шторами, освещенный лишь двумя пышными медными торшерами и настольной лампой под коричневым абажуром. За необъятным письменным столом вишневого дерева в глубоком кожаном кресле сидел пожилой литовец барского вида в коричневом бархатном пиджаке и модном галстуке с золотой заколкой. Держа возле уха тяжелую телефонную трубку времен двадцатых годов, он говорил с кем-то по-литовски, отрицательно покачивая головой после каждой фразы. Потом положил трубку и поднял на меня свои холодные светлые глаза.

– Слушаю вас... – сказал он по-русски, сразу опознавая во мне приезжего.

– Салам алейкум! – сказал я с улыбкой и положил перед ним свое старенькое потертое удостоверение сотрудника газеты «Бакинский рабочий». – Я из Баку, корреспондент азербайджанской республиканской газеты «Бакинский рабочий». Нахожусь тут в командировке для освещения прямых литовско-азербайджанских культурных связей. И такое событие, как открытие в Вильнюсе гастролей парижского театра, я просто обязан осветить. Тем более что к нам в Баку они не приедут...

Директор посмотрел мне в глаза. *Прямые* литовско-азербайджанские связи означали некий демарш против Москвы, эдакую скрытую солидарность угнетенных «младших братьев».

– Я понял, – сказал он, написал пару слов в своем отрывном блокноте, вырвал этот листок и вручил мне. – Это пропуск в театр. Но сидячих мест у меня уже нет, вам придется постоять.

– Спасибо! Чох сагол! – И я выскочил из его кабинета, как на крыльях.

Черт возьми, мне все удавалось в те дни – и завязка романа с французской актрисой, и творческий контакт с Банионисом, и даже операция с театральным пропуском совершенно в духе Остапа Бендера!

Конечно, сегодня, в 1995 году, когда я пишу эти строки, уже никого не удивишь романом с француженкой. Но в то железно-хрущевско-брежневское время даже Володя Высоцкий еще не был женат на Марине Влади, и потому – я помню – при одной мысли, что меня буквально несет к этой парижской актрисе, у меня голова кружилась сильнее, чем от всего спиртного из домашнего бара Баниониса. Да и было с чего! Судите сами:

Днем, в 1.30, я встретился с Донатасом и Оной на центральной улице Вильнюса, в вестибюле ресторана «Вильнюс», и метрдотель, расшаркиваясь перед знаменитым актером, провел нас через большой первый зал во второй – поменьше и поуютнее. Мы сели за столик, сделали заказ, и я стал возбужденно хвастать, как лихо я только что получил пропуск на спектакль «Мнимый больной». И в этот момент жена Донатаса сказала:

– Эдвард, вас действительно ведет судьба. Посмотрите в окно...

Я повернулся к окну. На улице, у входа в ресторан остановился интуристовский «Икарус», и яркая, в дорогих шубах и дубленках, группа иностранцев потянулась из его дверей в ресторан. Конечно, это были мои французы! Да и куда еще их могли привезти на обед, как не в лучший ресторан Вильнюса? И куда еще, как не в этот же лучший в городе ресторан, мог пригласить меня народный артист СССР Донатас Банионис?

Да, господа, все было просто и логично в этой игре судьбы, и все же...

Затаив дыхание, я ждал появления из автобуса «моей» француженки.

– Эта? – кивала жена Донатаса на очередную актрису, выпархивавшую из автобуса.

– Нет.

– Эта?

– Нет.

– Вот она! – сказал Донатас. – Да?

Я кивнул, поперхнувшись своим остановившимся дыханием.

Летающее чудо женственности, живые черные глаза, алые чувственные губы парижанки, роскошные светлые волосы до плеч, жемчуг смеющихся зубов и высокая порывистая юная фигурка, одетая в рыжий лисий жакет и черные бархатные брюки, – все это стремительно промчалось мимо нашего окна к двери ресторана – быстрее, чем я успел вздохнуть.

– О-о! – сказала жена Донатаса. – Она даже лучше, чем вы описали.

– Теперь я понимаю, почему в твоём сценарии все героини – блондинки, – сказал Донатас. И попросил официанта: – Нам графинчик водки, пожалуйста. – И объяснил встревоженной жене: – Это не для меня, а для него. Ты же видишь его состояние.

А и я вправду вдруг ощутил предательскую слабость в ногах, и все мое гусарство словно ветром сдуло.

Между тем французы уже заняли огромный, на двадцать персон, круглый стол в первом зале ресторана, отделенном от нас аркой навесного портала. Левая стойка этой арки скрывала от них наш столик, а от меня – половину их компании, и я не видел «свою» француженку.

– И слава Богу, – сказал на это Донатас. – Давай выпьем. За русско-литовско-французскую дружбу!

Мы выпили ледяную «Столичную», мне стало легче, и тут Она вспомнила:

– Два часа! Вам нужно звонить по поводу гостиницы! Знаете, где тут телефон? В вестибюле, при входе. Двушка нужна?

Двушка у меня была, а вот смелости взглянуть в сторону «моей» француженки, когда я пересекал первый зал ресторана, – не было.

И я прошел мимо их компании ни на кого не глядя, и нашел в вестибюле, слева от входной двери, телефон-автомат, и набрал номер приемной секретаря литовского ЦК.

– Здравствуйте, я по поводу гостиницы. Мне сказал товарищ...

– Да, я знаю, – ответила секретарша секретаря ЦК. – Сейчас я выясню, не кладите трубку.

Я застыл с трубкой в руке, и в этот момент из ресторана буквально бегом, пулей, широко выбрасывая длиннющие ноги в бархатных брюках, выскочила «моя» француженка и помчалась к выходу на улицу, словно догоняя кого-то. За ней, отставая, спешила их переводчица. Но, не добежав до двери, француженка увидела меня, резко свернула, подлетела ко мне и затараторила что-то требовательно-настойчивое на своем «же-ву-ля-фам». Я смотрел в ее горящие темным огнем глаза и ярко накрашенные зовущие губы, я дышал запахом ее парижских духов, я впитывал в себя это чудо французской женственности и... – не понимал ни слова!

– Она хочет с вами познакомиться! – перевела наконец из-за ее плеча переводчица. – Она спрашивает, кто вы такой? Она держит ваше яблоко на тумбочке у своей кровати и не ест, а смотрит на него и перед сном, и каждое утро! Как вас зовут?

– Вы слушаете? – сказал голос в телефонной трубке. – Алло! Вы слышите?!

– Да! Да! – спохватился я. – Я слушаю!

– Вам забронировано место в гостинице, которую вы просили. Но вы должны зарегистрироваться до десяти вечера.

– Спасибо! – сказал я, повесил трубку и повернулся к переводчице: – Скажите ей, что я живу в той же гостинице, что и они. И вечером буду на их спектакле.

Переводчица перевела, и француженка тут же обрадованно схватила меня за руку:

– Вирджиния! Вирджиния Прадал!

– Ее зовут Вирджиния Прадал, – сказала переводчица. – Вечером сразу после спектакля их труппа ужинает в ресторане гостиницы. Она приглашает вас на этот ужин. Она требует, чтобы вы пришли! Вы придете?

– Спасибо, – сподобился я на запоздалую вежливость. – Я постараюсь прийти.

И, вернувшись к Донатасу и Оне, налил себе еще рюмку водки, сказал как бы между прочим:

– Ее зовут Вирджиния Прадал. И вечером у меня с ней свидание. Сразу после спектакля.

Я думал, это прозвучит очень эффектно, но Она сказала:

– Еще бы! Когда вы прошли через тот зал, она так вскочила – мы думали, что она опрокинет свой стол!

Вечером оперный театр был переполнен. Вся литовская знать – партийная, советская и интеллектуальная – все были на том спектакле. Партер сиял неподдельными бриллиантами ярче, чем хрустальная люстра под потолком. Запах французских духов оглушал, я думаю, даже парижан на сцене. «Моя» француженка играла служанку в «Мнимом больном» и уже с первых минут завоевала зал, преобразившись, к моему изумлению, из очаровательной юной парижанки в угловатую провинциалку на манер знаменитой Вали Теличкиной. Буквально с третьего выхода публика встречала ее появление хохотом, а провожала аплодисментами. Даже Донатас и Она Банионисы сказали мне после спектакля, что «моя» Вирджиния – настоящая характерная актриса. Они подвезли меня к гостинице, пожелали успехов, напомнили, что заедут за мной в восемь утра, и укатили к своему сыну, который жил в Вильнюсе. А я вошел в вестибюль гостиницы, как восходят на корабль, отправляющийся в сторону Бермудского треугольника, – пан или пропал!

Впрочем, крохотные ангелы-хранители (или чертики?), которые, как утверждают англичане, постоянно сидят у нас на левом плече, громко пели мне прямо на ухо: «Тореадор, смелее в бой! Тореадор, там ждет тебя любовь!» – и я даже поразился, почему их наглые голоса не слышит никто, кроме меня.

Но в сумеречном вестибюле цэковского отеля, отделанном мрамором и карельской березой, и эти ангелы заткнулись – такая там стояла пуритански-строгая и партийно-кладбищенская тишина. Чопорный, как гробовщик, администратор выдал мне ключ от номера 604. Однако не успел я шагнуть в кабину лифта, как услышал у себя за спиной громкий хохот и

веселые голоса – это, словно стая птиц, влетела в гостиницу возбужденная успехом парижская труппа «Комеди Франсез». Как и все артисты после удачного выступления, они разговаривали повышенными голосами, весело пересказывали друг другу какие-то свои ляпы в спектакле, смаковали поздравления и комплименты публики, хохотали над собственными остротами и размахивали букетами цветов. И сумеречный вестибюль ожил от их хохота и зазвенел хрустальной люстрой. А переводчица и Вирджиния подлетели ко мне, и переводчица сказала:

– Вы уже тут? Очень хорошо! Вирджиния боялась, что вы исчезнете. Она будет ждать вас через полчаса у входа в ресторан. А я ухожу, мой рабочий день кончился. Вы поняли: через полчаса – вон там, у входа в ресторан. Договорились?

– Конечно, – кивнул я милостиво. Хотя ангелы на моем левом плече просто с ума посходили от возбуждения, да и у меня, как говорится, «очко зыграло». И было с чего! После успешного выступления на сцене Вирджиния сияла, как глянцевая открытка из Парижа, как девочка-мечта на обложке журнала «Le Shick». И эту девочку-открытку прислали мне! Мне! Из Парижа! Черт возьми, неужели вот так начинаются любовь, слава, везуха? Я повернулся к переводчице: – А в каком она номере?

– В 605-м. А вы?

– В 604-м.

Переводчица посмотрела на меня подозрительно:

– Вы, случайно, не колдун?

– Колдун, – признался я, снова посмотрел на Вирджинию, и в это время хохочущая группа артистов буквально внесла нас в кабину лифта и прижала друг к другу. Я стоял спиной к стенке, темные глаза Вирджинии оказались совсем рядом с моими, их зовущее и загадочное мерцание поглотило меня с потрохами, и я вдруг ощутил какую-то странную, нефизическую волну тепла, хлынувшую на меня через лисий мех ее жакета и букет цветов, который застрял между нами. Слово меня вдруг накрыло атласным покрывалом неги и нежности...

Между тем оказалось, что вся их труппа жила на пятом и шестом этажах, и пока мы, прижатые друг к другу, поднимались в лифте, они, конечно, вдоволь поострились на своем птичьем языке.

– Вирджиния, не раздави его!

– Нет, давай, давай! Прижми его как следует, по-французски!

– А вы успеете до шестого этажа?

Так или почти так они шутили всю дорогу, и Вирджиния парировала эти шутки, как могла, хохоча вместе с ними, но почему-то вовсе не сопротивляясь их нажиму, который буквально вдавливал наши тела друг в друга, словно две половинки волшебного бутерброда.

На шестом этаже, когда двери лифта открылись, французы загалдели еще громче и веселее:

– Ладно, отлипни от него, Вирджиния!

– Разлепите их кто-нибудь!

– Только держите его, он уже на ногах не стоит!

Они даже не знали, насколько они были близки к истине.

Но, как написала бы «Пионерская правда», *воспитанный на подвигах Павла Корчагина, Олега Кошевого и Зои Космодемьянской, советский драматург не показал французам своей слабости.*

Держась за руки, как двое романтических влюбленных, мы с Вирджинией пошли по коридору к своим номерам, они оказались буквально друг против друга!

Вирджиния что-то сказала, я ни черта не понял. Тогда она показала на часы, потом пальцем в пол, и я допер наконец, что через двадцать минут мы встречаемся вот здесь, в коридоре.

Я кивнул, вошел в свой номер, и ангелы тут же слетели с моего плеча, гневно зашуршали крыльями под потолком и закричали рассерженными голосами:

– Идиот! Дубина! Почему ты не поцеловал ее?!

– А где твои цветы? Ты не мог припасти для нее букет роз? Дебил несчастный! После спектакля артисткам дарят цветы!..

Я согласился с этой критикой, принял душ, переоделся в свежую сорочку и ровно через двадцать минут вышел из номера в коридор. Еще через минуту из своего номера выскочила Вирджиния. На ней были кремовая атласная блузка, короткая черная юбка и лаковые сапожки с какими-то офигительными раструбами выше колен – из этих раструбов она произрастала вверх, словно высокий экзотический цветок. А во всей ее стройной фигуре и в темных глазах была решительность Жанны д'Арк. Взяв меня за руку, она быстро повела меня к лифту, на ходу объясняя что-то и спрашивая о чем-то. И хотя я не понимал ни слова, я допер, что она уже знает обо мне довольно много: и что я сценарист, и что в моем фильме снимается знаменитый литовский артист – «как его имя?»...

Мы спустились в ресторан. На его двери висела табличка «ЗАКРЫТО. Время работы с 8 утра до 10 вечера», а было уже одиннадцать, но по случаю ужина французской труппы, который заказал для них министр культуры Литвы, дверь ресторана не была заперта и в самом ресторане был накрыт длинный и роскошный стол.

О, это был особый ужин! Я обязан описать этот ужин с красной строки, с абзаца! И не потому, что, как говаривал Виктор Шкловский, «на столе еды было столько, сколько съесть нельзя». Нет, я видел столы и богаче, ведь я родом с Кавказа! Но дело было не в количестве еды и прекрасного бургундского вина, которым предусмотрительный министр культуры Литвы буквально растопил сердца этих парижан. И не в пышных тостах – на Кавказе и в Средней Азии тосты бывают и пышнее, и ярче. И даже не в том, что я сидел рядом с моей возлюбленной француженкой, оплывая от ее внимания и тепла, как свеча от огня.

Дело было в том, что это не был ужин в нашем, советском понимании этого слова. А это был – спектакль! Да, это был легкий, непринужденный и импровизированный спектакль-экспромт актеров, которые только что покорили Литву и на волне успеха не могут остановиться, а продолжают играть – уже не для публики, а для себя, для кайфа. Невысокий крепыш с круглым и крепким лицом Василия Шукшина – гениальный сорокалетний исполнитель Тартюфа и ведущий, как я понял из объяснений Вирджинии, актер их труппы, знаменитый во Франции так же, как Донатас Банионис в России, – изображал свою безумную влюбленность в директора театра – высокого, усатого, импозантного и вальяжного брюнета лет шестидесяти. И как изображал! Я не говорю сейчас о качестве моих семи кинофильмов, хотя в них играли далеко не худшие в мире актеры – Банионис, Лановой, Ивашов, Кононов, Кокшенов, Караченцов, Жданько. И во ВГИКе я учился и дружил с Губенко, Нахапетовым, Прыгуновым. Да и сам я описал или сочинил в своих сценариях и романах уж не знаю сколько любовных сцен. Но, за исключением, пожалуй, одного раза, я никогда не видел ни в своих, ни в чужих фильмах такой возвышенной, страстной, галантной, нежной, поэтической и достоверной любви, какой любил в тот вечер этот актер директора своего театра! Как он ухаживал за ним во время ужина! Как преданно заглядывал в глаза, упреждая каждый жест и желание! Как нашептывал ему какие-то тихие голубиные слова! Как, якобы невзначай, трепетно касался его локтем, плечом, коленом...

Клянусь, первые десять минут я, еще не разобравшись, по поводу чего хохочут эти шумные французы, с оторопью думал, что у «Тартюфа» действительно эдакая «голубая» любовь с директором их театра. И только когда он, «Тартюф», не в силах больше сдержать неожиданный прилив своей страсти, стал уговаривать вельможного директора пойти с ним танцевать, до меня дошло, что все это – просто шутка, спектакль!

Да, так убедительно сыграть глубокую влюбленность – и, учтите, без всякой помощи любовной драматургии! – не смог бы, я думаю, ни один русский актер – ни Тихонов, ни Улья-

нов, ни Киндинов из фильма «Романс о влюбленных» Михалкова-Кончаловского, ни герой «Любви с первого взгляда» вашего покорного слуги.

Только женщины, только русские актрисы могли бы выйти на этот уровень актерского мастерства. Я говорю это с такой уверенностью потому, что испытал их женское мастерство лично, на самом себе. Ровно через полгода после описываемых тут вильнюсских событий свердловская киностудия фильма «Открытие» снимала в Вильнюсском аэропорту сцену отлета Андрея, сына академика Юрышева, на Север, в Заполярье. Поскольку Юрышев остановил опыты Андрея по получению 106-го элемента таблицы Менделеева – того самого «анселия», открытие которого Юрышев тридцать лет скрывал от советской власти, Андрей ушел из института отца и уезжал из Москвы. Провожать Андрея приехали в аэропорт его любовница Лиза и сам Юрышев, ужасно огорченный тем, что Андрей (Виталий Соломин) бросает в Москве такую замечательную женщину – Лизу (Ирину Печерникову). «Разлука уносит любовь», – сказал когда-то русский поэт Кукольник, но дело тут было не только в этом, а и в том, что, уезжая от Лизы, Андрей практически разрывал с ней отношения, бросал ее, жертвовал ею ради своих научных амбиций. Так получалось по сценарию, и вот как эта сцена прощания выглядела на бумаге в изложении главного героя фильма академика Юрышева, от лица которого был написан сценарий:

«Мы стояли в аэропорту, у турникета. К самолету уже прошли последние пассажиры. Андрей молчал, держал руки в карманах куртки. Глаза у Лизы были сухие, только накрашены сверх обычного...

– Вы летите или нет? – спросила у Андрея дежурная по посадке.

– Лечу, – ответил Андрей и повернулся к Лизе. – Ну? Прости меня. Если хочешь, еще можно успеть взять второй билет.

Лиза покачала головой.

– Прости, – снова сказал он, поцеловал ее, и она не отстранилась, а даже провела ладонью по его щеке. Медленно, едва касаясь пальцами. И было в этом скупом жесте что-то такое, от чего у меня защемило сердце...»

Мы снимали эту сцену в Вильнюсском аэропорту, и я знал, что это будет непростая съемка, потому что у капризного и заносчивого актера Виталия Соломина не сложились отношения ни с Ириной Печерниковой, ни с режиссером Борисом Халзановым, ни с кинооператорами. И еще за день до съемки я по просьбе Халзанова прилетел из Москвы в Вильнюс, вечером провел примирительные беседы и с Ириной, и с Виталием, и с Борисом, а наутро примчался в аэропорт и стал ждать, когда ассистенты подготовят съемочную площадку, осветители поставят свет и актеры займут свои места перед камерой. Наконец, часа через три, все было готово, Печерникова, кутаясь в платок, стала перед Соломиным, и он, через плечо ответив «лечу» дежурной по посадке, сказал Ирине:

– *Ну? Прости меня. Если хочешь, еще можно успеть взять второй билет.*

Он произнес это сухо, формально, *не любя Ирину* и вовсе не желая, чтобы она летела с ним. Собственно, именно так и нужно было по сценарию, потому что Андрей уже отрезал ее от себя, расстался с ней внутренне и жил своим завтрашним днем, своими планами прорыва к открытию анселия там, в Сибири. А это сентиментальное прощание, да еще в присутствии отца, вызывало у него только досаду.

Две камеры стояли «восьмеркой», чтобы снять и реплику Соломина, и реакцию Печерниковой, и я ждал, что сейчас Ирина, как и было написано в сценарии, покачает головой, а затем протянет руку к лицу Соломина – медленно, едва касаясь пальцами его щеки. И вложит в этот жест все, что только может сказать любящая женщина, – и прощение, и благословение на дорогу.

Но Ирина не двигалась! Она не качала головой, не поднимала руки, не шевелилась! Стоя сбоку от актеров и в трех шагах от камеры, я видел, что ее лицо бесстрастно и пусто, как серый октябрьский литовский пейзаж за ее спиной. Целовать *такую* Печерникову, да еще просить у нее прощения не смог бы, я думаю, даже Вячеслав Тихонов.

– Стоп! – приказал режиссер операторам. – Выключить свет!

И посмотрел на меня, сказал шепотом:

– Вот так в каждой сцене. То он ее сажает, то она его. Что делать?

Но я уже и сам подскочил к Ирине, взял ее под локоть, отвел от всех и сказал в отчаянии:

– Ира! Это же ваша главная сцена! Вчера вы мне сами сказали, что именно из-за этой сцены вы согласились сниматься в фильме! Ну как же так?

Действительно, вчера, во время ужина в ресторане гостиницы, Ира выдала мне целую обойму комплиментов за то, что в этой кульминационной сцене у нее нет ни одного слова, а есть только этот жест и взгляд.

– Я знаю, как это сыграть, Эдуард, не волнуйтесь! И можете спать спокойно – я сыграю это не хуже вашей любимой Лайзы Миннелли! Вот увидите!

И вдруг сегодня, тут, на съемочной площадке, в ее лице и в ее замечательных темных глазах – пустота, пустыня, кладбище эмоций и мыслей.

– Ира, что с вами? Может, послать за коньяком? За кофе?

– Ничего не нужно, – ответила она, нервно закуривая. – Просто уберите этого Соломина из кадра, я не могу видеть его перед собой!

– Но как же снимать эту сцену без Андрея?

– Ну, вы же сняли общий план, как мы стоим друг против друга. А теперь снимите мой крупный, но без него. Поставьте вместо него кого угодно или станьте хоть сами. И я вам все сыграю.

– Как вы сыграете, Ира?! – сказал я с тоской, понимая, что и эта сцена, которой я так гордился и которую не вымарал даже Нифонтов, летит коту под хвост! Каждый фильм – кладбище сценария, сказали мне когда-то мэтры нашего цеха Фрид и Дунский, утешая по поводу провала двух моих первых фильмов. Но чтобы вот так, на моих собственных глазах, да еще руками таких знаменитых и талантливых актеров похоронить одну из лучших сцен сценария, – это было выше моего еврейского долготерпения!

– Давайте я вам покажу, как я сыграю, – предложила между тем Ирина. – Хотите?

– Ну, покажите... – нехотя согласился я, чувствуя, что сейчас либо брошусь вниз головой с балкона Вильнюсского аэровокзала, либо пойду в ресторан и напьюсь вусмерть.

– Станьте против меня, – сказала Печерникова и поставила меня перед собой. – Вот так. А теперь смотрите. В глаза мне смотрите!

И вдруг – я даже не знаю, как это случилось, господа, но вдруг темные, мягкие, бархатные глаза Ирины Печерниковой, знакомые вам своей наивной невинностью по фильму «Доживем до понедельника», – вдруг эти глаза расширились, и властным, могучим и даже каким-то *втягивающим* взглядом вобрали меня в себя – всего, целиком, до моих колен и подошв! И там, внутри, в женской эротической глубине ее плоти они омыли меня слезами любви, нежности и вождения, а затем выпустили из себя, снова поставили перед собой на холодные плиты летного поля, и уже совсем другим, не чувственно-плотским взглядом любовницы, а взором все понимающей и все прощающей матери прошли по моему лицу и щекам, вернулись к моим глазам и... оттолкнули меня от себя, посылая в другую жизнь...

– Ну? – сказала Ира после паузы и затянулась сигаретой. – Вы видите, я обошлась без жеста, только глазами. Так вас устроит?

– Ира... – хрипло выдохнул я, чувствуя такую слабость в коленях, словно я только что совершил самый большой сексуальный подвиг своей жизни и лишь чудом остался после этого

жив. – Это... Это именно то, что нужно в этой сцене! – И повернулся к режиссеру: – Боря, свет, камеры!

– Но только без Соломина, – тихо сказала мне Ирина. – Станьте вместо него на восьмерке.

– Нет, Ира, я больше не могу! Два раза подряд я это не выдержу!

– Ничего, ничего, становитесь! – сказала она. – Не с Халзановым же мне это играть! У него тут жена на площадке...

Нужно ли говорить, что после четвертого дубля я ушел с площадки на ватных ногах и ни в этот день, ни в три последующих не был способен ни на какую мужскую работу?

Но самое *типично киношное* во всем этом было то, что мой подвиг пропал зря, потому что все-все сцены, которые в десятках дублей были сняты в те дни в Вильнюсе и ради которых свердловская киногруппа прилетала тогда в Литву, – весь этот гигантский, нервный и дорогостоящий двухнедельный труд Баниониса, Печерниковой, Соломина и других актеров был снят на пленку *Рязанской* кинофабрики и оказался... пленочным браком.

И от всей этой замечательной истории, которую я храню в своем сердце и других сокровенных частях своего тела как память о гениальном мастерстве русской актрисы Ирины Печерниковой, – от всего этого осталась одна-единственная фотография, снятая свердловским студийным фотографом в тот момент, когда мы стоим с Ириной друг против друга и она готовится показать мне, как можно *сыграть* любовь...

Н-да... Но первый раз такой высокий уровень актерского мастерства я видел в исполнении французского актера во время того памятного ужина в ресторане вильнюсской гостиницы. Он так «любил» тогда директора своего театра, что уговорил-таки его пойти с ним танцевать, и это был танец, достойный музыки Дебюсси, Чайковского и Вебера, вместе взятых. Никакой Лиэпа, господи, никакая Плисецкая, при всей их гениальной пластике, никогда не сыграют вам такую чувственность, и страсть, и обожание, и трепет, и негу, и темперамент, и еще черт-те что, какие изливал в тот вечер этот чертов французский Шукшин на абсолютно дубового и бесчувственного директора «Комеди Франсез». И от этой их полной несовместимости, от разительного контраста их полярности рождался такой комический эффект, что какой тут к шутам «Мнимый больной»! Даже актеры «Комеди Франсез», только что сами отыгравшие комедию Мольера, заходились от смеха до икоты и буквально падали на пол со стульев, роняя вилки, салфетки и накладные ресницы...

В час ночи, когда ужин закончился, Вирджиния снова взяла меня за руку и повела к лифту. Я обомлел от предчувствия. Неужели во Франции это делается вот так запросто? Взять за руку и у всех на глазах повести в свой номер! К тому же, обессиленный двумя часами непрерывного хохота над всеми видами любви – от возвышенной романтической влюбленности до низменно-чувственной страсти, – я с трудом представлял себе, как я теперь справлюсь с аналогичной ситуацией в жизни.

Но оказалось, что Вирджиния вела меня вовсе не в свой и даже не в мой номер. А на парти, на вечеринку, на выпивон их труппы, который в связи с закрытием ресторана перекочевал в номер одного из актеров. Здесь не было ни стульев, ни стола, ни закуски, но те же двадцать или тридцать актеров уселись тут прямо на пол, вдоль стен, и принесенные из всех их номеров стаканы наполнились изъятыми из их чемоданов припасами – вином, коньяком, шампанским. Часа через полтора, захмелев от этих коктейлей и прижатых ко мне бедра и плеча Вирджинии, я уже начал понимать по-французски и хохотать вместе со всеми над их шутками и постоянными, после каждого тоста и анекдота, обращениями к вентиляционной решетке в верхнем углу комнаты.

– Dear KGB's comrades! – почему-то по-английски обращались французы к этой решетке и повторяли за мной по-русски: – Ми пьем за ваше здоровье! Ми вас очень любим! И приглашаем в Париж!

И хохотали, довольные собой.

А я опьянел настолько, что не без успеха – жестами и тремя английскими словами – рассказал им подлинную историю, которая случилась пару лет назад в ленинградской гостинице «Астория» в номере композитора Никиты Богословского.

– Наш русский Мишель Легран – композитор Никита Богословский, – сказал я, – приехал однажды в Ленинград писать музыку для очередного фильма ленинградской студии. Он поселился в «Астории» и, как водится, собрал вечером своих друзей на вот такую же парти – вечеринку. А друзья у него – вся элита Питера: режиссеры театра и кино, писатели, артисты. Было много выпито и еще больше сказано, причем сказано, конечно и в основном, насчет «Софьи Власьевны» – то есть советской власти. Через пару часов этого дружеского веселья оказалось, что у собравшихся кончились сигареты, и кто-то из гостей хотел сбежать за куревом в буфет, но Богословский сказал:

– Ну зачем же бегать? Мы сейчас попросим... – И, повернувшись вот к такой же вентиляционной решетке под потолком своего номера, попросил: – Товарищи сотрудники КГБ, тут у нас сигареты кончились. Будьте добры, принесите нам пачку «Столичных».

Гости Богословского посмеялись над этой неприятательной шуткой и через минуту забыли о ней, и кто-то из самых нетерпеливых курильщиков уже собрался идти в гостиничный буфет, как вдруг послышался вежливый стук в дверь.

– Кто там? Войдите! – сказал Богословский.

Дверь открылась, на пороге стояла дежурная по этажу.

– Вы просили сигареты, – сказала она. – Вот, пожалуйста, вам просили передать. – И протянула пачку «Столичных».

Конечно, после ее ухода в номере послышались смешки и саркастические остроты. Не веря в то, что их действительно слушает КГБ, каждый тем не менее стал мысленно вспоминать, что именно он сказал насчет нашей родной коммунистической партии и советской власти. Курильщики – а таких было большинство – в минуту нервно разобрали принесенные сигареты, говоря: «Нет, этого не может быть! Это какое-то совпадение!» И тут обнаружилось, что у собравшихся, оказывается, кончились не только сигареты, но и спички. Нечем было прикурить людям! И тогда Богословский снова обратился к вентиляционной решетке:

– Товарищи сотрудники КГБ! Извините, что я вас опять беспокою. Спасибо за сигареты, которые вы нам передали, но у нас, оказывается, и спички кончились. Уж будьте любезны, а?

И – мертвая тишина воцарилась в номере Богословского. Ведущие питерские режиссеры театра и кино, именитые советские писатели и знаменитые народные артисты, исполнители ролей советских вождей и рабочих, молча смотрели на дверь. Дамы перешли с грудного дыхания на правильное дыхание – животами. Богословский – маленький и толстенький, как пингвин, о котором в киношных кругах злословили, будто он имеет звание майора госбезопасности, – спокойно прошелся по номеру и сел к роялю, делая вид, будто не замечает напряжения публики. И в этот момент вновь прозвучал стук в дверь. Это был негромкий и вежливый стук, но в ушах собравшихся он прозвучал как расстрельный залп на Дворцовой площади.

– Да, да! Войдите! – сказал Богословский.

Дверь открылась. На пороге стояла все та же дежурная по этажу, в руках у нее был спичечный коробок.

– Никита Владимирович, – сказала она. – Вы просили спички. Вот, пожалуйста.

Через минуту в номере Богословского не осталось ни одного человека. Наспех натягивая на себя пальто, шляпы и галоши, вся питерская элита, все – заслуженные, народные и лауреаты, – толкая друг друга, ринулись из этого номера и – не дожидаясь лифта – из «Астории». Они бежали по Невскому, надвинув на лица шляпы и шапки в надежде, что их не опознают агенты КГБ. А спустя еще минуту и Богословский вышел из своего номера. Мягко ступая сво-

ими тридцать седьмого размера туфельками по ковровой дорожке гостиничного коридора, он подошел к сидевшей за столиком дежурной по этажу и протянул ей десять рублей.

– Спасибо, Маша.

– За что? – удивилась дежурная.

– За сигареты и спички.

– Но вы же мне сами дали эти сигареты и спички. Три часа назад, вы забыли?

– Нет, я помню, Маша. Но ты не забыла принести сигареты ровно в 10.00, а спички – в 10.08, как я и просил. И это тебе за аккуратность.

Не знаю, как с помощью трех английских слов я смог рассказать французам эту совершенно правдивую историю из серии знаменитых розыгрышей Никиты Богословского, но успех мой и аплодисменты всей труппы «Комеди Франсез» обошлись мне тогда очень дорого. Хотя, как мне показалось, до них дошло, что это был всего лишь розыгрыш, однако сразу после моего рассказа они все почему-то перестали пить и хохмить, а потянулись прочь из номера. И в четыре утра, когда мы с Вирджинией, все так же влюбленно держась за руки, дошли до ее номера и я, уверенный в приближении заветной кульминации нашего романа, хозяйским жестом взялся за ручку двери, Вирджиния вдруг отрицательно покачала головой, показала рукой на вентиляционную решетку в потолке гостиничного коридора и сказала с улыбкой по-английски:

– KGB is watching!

И я понял, что я проиграл. Мало того, что мы с ней действительно были в гостинице ЦК Литовской компартии, где все номера, наверное, и вправду прослушивались сотрудниками КГБ, так я еще сам, своей идиотской историей напугал ее до смерти!

– Но это же была шутка, джок! – сделал я жалкую попытку повернуть историю вспять.

Но Вирджиния уже прикоснулась своей щекой к моей щеке, пожелала мне эдакое французское «бонна нотте» и сказала с утешительной нежностью:

– Мы будем в Москве через десять дней. И я вам обязательно позвоню. Оревуар!

И ее волшебная, произрастающая из раструбов сапог фигурка исчезла за дверью ее номера.

А я пересек коридор, вошел в свой номер и услышал, как ангелы, сидевшие на моем левом плече, замертво свалились с этого плеча на пол. Сидя на полу, они стали раскачиваться из стороны в сторону, словно евреи в похоронной молитве, и причитать плаксивыми голосами:

– Господи, зачем ты прикрепил нас к этому идиоту! Упустить такую красавицу! Французенку! Барух ата Адонай! Неужели мы всю жизнь должны мучиться с этим мудаком! Ведь она уже была готова! Готова! Боже, смилуйся над нами, ангелами, переведи нас к кому-нибудь другому! Ну что тебе стоит?

Я оставил их на полу поливать их ангельскими слезами гостиничный ковер и улегся спать. Как и они, я был уверен, что никакая Вирджиния никогда не позвонит такому остолопу, как я.

Между тем жизнь продолжалась, а еще точнее – продолжалась моя игра в кино. Я назвал эту книгу именно так, потому что отдал этой игре двенадцать лет своей жизни, если не считать еще четырех, вгиковских, где меня и еще пять сотен отборных – ну, точнее, отобранных в жестоком конкурсе – молодых людей учили правилам этой игры Михаил Ромм, Сергей Герасимов, Сергей Бондарчук, Евгений Габрилович, Георгий Данелия и другие корифеи советского кино. И, полагаю, неплохо учили, если только одновременно со мной из стен этого лица вышли Сережа Соловьев, Элем Климов, Андрей Смирнов, Артур Пелешьян, Лариса Шепитько, Валерий Рубинчик, Михаил Богин, Эдик Володарский, Женя Григорьев, Валя Черных, Витя Мережко, Эмиль Лотяну, Болот Шамшиев, Коля Губенко, Слава Говорухин, Отари Иоселиани, Никита Хубов, Витя Трегубович, Витя Каневский, Гена Карюк, Юрий Сокол, Илья

Суслов, Валя Теличкина, Лариса Лузина, Наташа Величко, Жанна Болотова, Радик Нахапетов, Леночка Соловей и еще десятки кинознаменитостей. Я помню их всех и многих других, тут не названных, я помню их по вгиковским коридорам, курилкам, просмотровым залам, столовой, общаге на Яузе – помню их юными, веселыми, нищими. Я помню, как на пятом этаже вгиковского общежития, в женской комнате на четвертых, Валя Теличкина, как Золушка перед балом, три ночи подряд сама, своими руками шила себе платье для премьеры своего первого фильма «Журналист» – фильма, который в один день сделал ее кинозвездой. И я помню – уже не то как быть, не то как легенду, – как Миша Богин, получив Гран-при Московского фестиваля за свой первый фильм, шел с этим призом ночью через всю Москву – от гостиницы «Россия» до вгиковского общежития на Яузе – шел пешком, потому что у него не было пяти копеек на метро. И я помню, как Витя Каневский, автор знаменитой присказки «Мадам, прилягемте у койку» и будущий лауреат Каннского фестиваля, ранним воскресным утром весело обегал всю нашу общагу, стреляя по пять копеек в каждой комнате, а потом на эти деньги мы ехали в «Арагви» есть хаши...

О, конечно, каждый из нас по-своему прорывался в кино – в меру и не в меру своих талантов. Но ставки у всех были одинаковые: все или ничего! Была не была! Пан или пропал! А те, кто не ставил на кон абсолютно все, не имели шанса выиграть ни с помощью таланта, ни с помощью связей. И не выигрывали. Впрочем, и те, кто ставил на кон абсолютно все, тоже не имели никаких гарантий успеха. Я уже писал где-то, кажется, в «Московском полете», о моем друге Рудике Тюрине, который еще студентом ВГИКа сочинил сценарий «Бунт на коленях» о протопопе Аввакуме – сценарий уже тогда был признан гениальным, но не поставлен до сих пор. И о Вите Мережке, с которым после окончания ВГИКа мы два года безуспешно обивали пороги «Мосфильма» и студии имени Горького, держа под мышкой свои дипломные сценарии и делясь подчас последним рублем. Я не знаю, где добывал эти рубли Витя, но Ирина Ришина, Саша Рыбаков, Лена Лосото и другие журналисты «Литгазеты» и «Комсомолки» не дадут мне соврать: я являлся тогда в их редакции и говорил всем, с кем подружился там за годы своей внештатной журналистской работы: «Я пришел поесть. Сегодня ты меня кормишь!». «Напиши какую-нибудь заметку, заработай десятку!» – говорили мне Ирина, Лена или Саша. «Нет, мне некогда! – нагло отвечал я. – Мне нужно идти на „Мосфильм“ пробивать свой сценарий! Ты одолжишь мне рубль!» Да, за неимением московской прописки и жилья я, месяцами ночуя у друзей на раскладушках, на полу, на продавленных диванах, а порой и просто на лавках Белорусского, Ленинградского и Ярославского вокзалов, сразу после окончания ВГИКа возомнил себя кинодраматургом и ожесточенно, с чисто, я думаю, еврейским максимализмом отказывался от любого журналистского заработка.

О, теперь-то я хорошо понимаю, что никаким драматургом я в ту пору еще не был, хотя в кармане у меня было два киносценария и диплом об окончании сценарного факультета ВГИКа, где черным по белому было записано: «Специальность – кинодраматург». В 1965–1966 годах такие дипломы получили во ВГИКе человек тридцать, но только несколько из нас – Тюрин, Мережка, Черных (будущий автор фильма «Москва слезам не верит») и ваш покорный слуга – выбрали ту волчью тропу игры в пан или пропал, а остальные разъехались по провинциальным киностудиям редакторами и штатными сценаристами документального кино. А потом и Мережка вдруг исчез из мосфильмовских коридоров, и я подумал – вот, и этот сдался! Так какого же черта я тут бьюсь головой о стенку, пора и мне сдаваться и идти в штат «Литгазеты» – пока зовут, пока сам Чаковский и его всевластный зам Сырокомский предлагают московскую прописку и должность разъездного корреспондента! И я помню тот холодный солнечный день 8 октября 1966 года, когда мне исполнилось 28 лет и когда уже истощился лимит друзей и знакомых, у которых можно было переспать, а ночевать на Ленинградском и Белорусском вокзалах стало опасно, поскольку тамошние милиционеры и уборщицы уже знали меня в лицо и будили среди ночи, как привокзального бродягу. В этот день я надел последнюю чистую нейло-

новую рубашку, собственноручно выстиранную во вгиковской общаге, куда я проникал теперь на ночлег не через дверь, блокированную вахтером, а через окно, – так вот, я надел тогда свою последнюю чистую рубашку и отправился на «Мосфильм». Там я отсидел шесть часов в приемной главного редактора студии Александра Рекемчука, и, когда, не выдержав такой осады, он все-таки принял меня, я сказал:

– Александр Евсеевич, как член редколлегии «Литгазеты», вы можете легко проверить: Сырокомский и Чаковский предлагают мне штатную работу. То есть я могу хоть завтра уйти из кино туда, откуда пришел, – в журналистику. Но дипломная комиссия ВГИКа, в которой вы тоже состоите, поставила мне «отлично» за мой дипломный сценарий. И теперь я не знаю, как мне быть. Если мой сценарий действительно хорош, то почему меня вот уже пять месяцев пинают ногами все редакторы вашей студии?

– О чем ваш сценарий? – нахмурился Рекемчук.

– Об открытии тюменской нефти.

– Не помню. Наверно, я не читал.

– Вот этот сценарий. Прочтите его сами. Если вы скажете мне, что это никуда не годится, я пойду в штат «Литгазеты» и, клянусь вам, никогда в жизни не отниму больше ни минуты ни у вас, ни у ваших редакторов. Честное слово!

Рекемчук посмотрел мне в глаза, потом – на обтертые рукава моей рубашки, которые я старательно прятал под рукава брезентовой штормовки, потом – на мои единственные брюки, которые уже давно пузырились в коленях, и только потом – на сценарий, который лег на его стол. Я понял, что поймал его в ловушку.

– Хорошо, – сказал он с явным недовольством. – Я прочту. Позвоните мне через десять дней.

Эти десять дней нужно отсчитывать рапидом, и каждый – за сто. Я прожил их словно по песочным часам.

18 октября секретарша Рекемчука сказала, чтобы я позвонил еще через десять дней.

28 октября она соединила меня с Рекемчуком.

– Ступайте в Первое объединение к главному редактору Оскару Курганову. Он подпишет с вами договор, – кратко сообщил свой приговор Рекемчук.

29 октября, после моей суточной осады бухгалтерии «Мосфильма», бухгалтер студии Семен Калманович Брудник выписал мне мой первый киноаванс – ровно тысячу рублей. И вечером я привез во вгиковское общежитие ящик коньяка и шампанского – по бутылке на каждую комнату, где давали мне ночлег. А на следующий день в столовой «Комсомолки» и «Литгазеты» угощал шоколадом и черной икрой всех, кто подкармливал меня эти пять прошедших месяцев. Как вы понимаете, при таком размахе мне хватило этого мосфильмовского аванса только на пару месяцев...

Впрочем, дело было не в деньгах! Мы все были в то время молодыми, голодными, щедрыми и отчаянно самонадеянными. Мы играли – на все! И это все объясняет – и безоглядность, и мотовство, и немислимую продуктивность. Витя Мережко, которому рафинированные мосфильмовские редактрисы говорили, что он не умеет писать по-русски, исчез из мосфильмовских коридоров осенью 66-го и появился там снова лишь весной 67-го, держа под мышкой пять новых сценариев, написанных им все на том же мережковском южнороссийском наречии.

– Витя, как ты написал пять сценариев за пять месяцев?! – изумился я.

– Задницей, – объяснил Виктор.

Я не поверил:

– Повернись!

– Нет, сегодня я в других брюках, – сказал Мережко. – Но если бы ты увидел мою табуретку – она сияет, как лысина Хрущева!

Однако я не стану испытывать терпение читателя подробным экскурсом в эпоху 1966–1972 годов. Я рассказываю свой *французский* роман и потому прошу на сцену вашего воображения очень простенькую декорацию: коммунальную квартиру в старом трехэтажном доме на улице Кирова. Входная дверь с протертой дерматиновой обивкой. Общая прихожая с лампочкой без абажура и обшарпанными тумбочками, забитыми дырявыми галошами и банками с сухим сапожным кремом. Коридор, заставленный старыми шкафами под замками и увешанный под потолком валенками, тазами, детской коляской и трехколесным велосипедом. В этом коридоре слева – дверной проем на общую кухню с четырьмя газовыми плитами и одним кухонным столом, за которым поочередно завтракали, обедали и ужинали все жители этой квартиры. И с мухами-мутантами, которые не спали даже в феврале!

За кухней, на стене – общий телефон с грозной надписью: «*Не занимать больше трех минут!*», рядом – дверь в туалет, совмещенный с «бытовыми удобствами», то есть с душем. А вся правая стена коридора – как в тюрьме или в общежитии: пять дверей в пять комнат-пеналов, получившихся, видимо, еще в двадцатые годы при разделе этой «буржуйской» квартиры ее первыми пролетарскими обитателями. Короче говоря, типичная «воронья слободка».

В этой «слободке» самую первую у входа комнату занимали молодожены Паша и Люся. С ними соседствовала комната какой-то бесцветной старухи. Затем шла комната ее дочери, которая жила в Черемушках у хахалы, и у матери под видом племянника из Баку снимал ее ваш покорный слуга. Дальше была жилплощадь семейства Капустиных – муж, жена и трехлетний Васька, который постоянно ездил по коридору на трехколесном велосипеде, ударялся о шкафы и орал благим матом так, что обкакивался. А за Капустиными, в последней, угловой, комнате жил одинокий пятидесятилетний «холодный фотограф» Виктор, он поздно вставал, уходил на работу в свою фотографию небритый и квелый, и вообще он казался мне в ту пору глубоким стариком.

А двадцатилетний молодожен Паша, токарь автозавода имени Лихачева, был по-есенински круглолиц, белобрыс, ясноглаз, тих и улыбочив, как полевой одуванчик. Он уходил на работу в шесть утра и приходил в семь вечера, а его Люся – крутобедрая синеглазая молодка поразительной красоты и сочности, с толстой, как початок кукурузы, пшеничной косой и влажными алыми губами – училась в каком-то техникуме и всю вторую половину дня что-то варила и жарила на кухне и встречала своего мужа полным обедом, тремя бутылками пива и непременной поллитровкой «Московской». Я никак не мог вычислить расписания их семейной жизни: Пашка, придя с работы, два часа торчал в туалете, в душе и на кухне, где Люся кормила его и поила. Потом до десяти вечера Пашка обязательно смотрел футбол и «Следствие ведут знатоки», а Люся старательно мыла посуду на кухне. А после десяти из их комнаты уже слышался сладкий Пашкин храп... Наутро Пашка вставал в пять и к шести уже уматывал на работу.

Когда же они занимались тем, чем им положено было заниматься в первую очередь? – не понимал я, невольно (или вольно?) прислушиваясь по ночам к тишине нашей «вороньей слободки». Потому что ночи в этой квартире были – мои, это было единственное время, когда я мог спокойно работать, не прерываемый Васькиным ором, громкими голосами на кухне, телефонным трепом всех обитателей квартиры прямо напротив моей двери и бодрими песнями Пахмутовой и Добронравова, которыми с утра до ночи заливались радиоточки московского радио в комнатах моих соседей. Правда, по ночам я не мог стучать на машинке, но это было и к лучшему – ночью я писал от руки, а днем перепечатывал начисто, делая поправки. Таким образом даже этот недостаток моего жилья оборачивался достоинством, а помимо него были тут и другие: во-первых, комната, которую я снимал, стоила мне всего пятнадцать рублей в месяц, что в ту пору, то есть до запуска «Открытия» на Свердловской студии, было для меня весьма существенно. А во-вторых, сдала мне эту комнату дочка старухи-соседки, и потому никто из соседей не стучал ни в жэк, ни еще куда-нибудь о том, что я тут живу без прописки.

И вот в одну из таких тихих творческих ночей я раскрыл тайну семейной жизни наших молодоженов, она оказалась проста и банальна – мне достаточно было полениться прикрыть свою дверь, чтобы узнать то, что знали, конечно, все остальные соседи.

В 12.30 легкие Люськины ноги прошелестели тапочками и халатиком мимо моей двери в туалет. Я отметил это боковым зрением и продолжил свои писания, но когда Люська не последовала обратно ни через десять минут, ни через полчаса, я прервал свою работу, вернулся с высот своего ночного вдохновения на нашу грешную землю и удивленно выглянул в коридор.

За стекляннно-матовым окном туалетной двери было темно.

В недоумении – я же своими глазами видел, как Люся побежала в туалет! неужели я так заработался, что пропустил ее возвращение? – я осторожно потянул на себя эту дверь. Она открылась, но Люськи там не было, туалет оказался пуст. Я тупо заморгал и на всякий случай, уже как полный идиот, заглянул в кабину душа. Однако Люси не было и там. Я вышел в коридор и осторожно, чтобы не скрипеть половицами, прошел к полуоткрытой двери комнаты молодоженов – неужели я все-таки прозевал, как Люська вернулась? Но тогда почему у них дверь не закрыта?

В пенале комнаты молодоженов, на близкой к двери кровати, затылком ко мне сладко, с присвистом спал пьяный алкаш Пашка-одуванчик. А вторая подушка была пуста и вся вторая половина кровати – тоже.

Я тихо закрыл дверь и еще раз огляделся в коридоре. Теперь издали я увидел тонкую, в миллиметр, полоску красного света под дверью нашего «холодного фотографа». Еще не веря себе, не веря в свою такую простую догадку, я медленно двинулся к этой двери, боясь, что сейчас меня накроют – заорет во сне Васька, или выглянет старуха-соседка, или выйдет в туалет Васькин отец Капустин-старший.

Но все было тихо, и я благополучно добрался до противоположного конца коридора. И уже с расстояния трех шагов ясно услышал за этой дверью характерный ритм скрипучей кровати и в такт этому скрипу – зажатый и истомный Люськин полустон.

Судя по этому стону и ускоряющемуся ритму матрасного скрипа, их дело вступило в заключительную фазу, но даже галопный ритм не мог сокрушить эту девятнадцатилетнюю кобылицу Люську.

А я все стоял в коридоре, слушал эту музыку секса и кричал себе мысленно: «Вот! Вот о чем надо писать, дубина ты стоеросовая! А ты о чем пишешь? Поиски сибирской нефти? Пожар в океане? Открытие Норильска? Романтик сраный! Вот где жизнь, за этой дверью! Девятнадцатилетняя девка бегает по ночам к пятидесятилетнему „холодному фотографу“, потому что ее юный муж – алкаш! Нифонтова бы сюда, Павленка, Ермаша! И всех этих рафинированных редактрис „Мосфильма“...»

И в этот момент финально-истомный Люськин стон тихим ангелом вылетел из алой дверной щели, пролетел по коридору и умер в пыльных шкафах и тумбочках нашей прихожей.

Я повернулся, пошел к своей комнате и... наткнулся на зоркий глаз старухи-соседки, торчавший в ее приоткрытой двери. Впрочем, не проронив ни слова, она тут же и закрыла свою дверь и даже набросила изнутри крючок, словно убоялась моих шагов. Или – какого-то пламени в моих глазах...

А утром Виктор, помятый, небритый и квелый после тяжелых ночных трудов, ушел на работу, а Люська, вернувшись в полдень из техникума, готовила на кухне обед своему мужу и громко пела песню Александры Пахмутовой «А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты...»

22 февраля 1973 года я вернулся из своей первой поездки к Банионису именно в эту квартиру на улице Кирова.

Конечно, я ждал звонка Вирджинии – врать не буду. Я знал, что она не позвонит, я был уверен, что она не позвонит, однако вырезал из «Советской культуры» расписание спектаклей «Комеди Франсез» в помещении Малого театра. Согласно этому расписанию их гастроли начинались в Москве через десять дней – 3 марта спектаклем «Тартюф». Но эти десять дней были у меня так забиты работой, что каждый вечер мои сварливые ангелы-хранители замертво падали от усталости с моего плеча на подушку и засыпали мгновенно, не успевая и повздыхать об экзотической француженке. Я переписал несколько сцен, которые не устраивали Баниониса, и отправил их в Свердловск и в Паневежис. Я провел предварительные переговоры с Жанной Прохоренко, Володей Ивашовым, Альбертом Филозовым, Мишей Кононовым и Мишей Кокшеновым. Когда все они согласились на предложенные им роли, из Свердловска прилетел режиссер Борис Халзанов и, покручивая острые усы на своем круглом бурятском лице, сказал, что студия поставила меня на зарплату и сразу после кинопроб артистов мы с ним едем в Болшево, в Дом творчества кинематографистов, писать режиссерский сценарий. Но точной даты отъезда он не знает, потому что послал сценарий Папанову, Джигарханяну, Печерниковой и братьям Соломиным. Если у нас согласились сниматься Банионис, Ивашов и Прохоренко, то почему бы не собрать в этот фильм вообще всех звезд, на все роли?

И теперь телефон в общем коридоре нашей «вороньей слободки» поминутно взрывался беспардонными и пронзительно-требовательными звонками междугородней:

– Свердловск вызывает Эдуарда!.. Паневежис вызывает Эдуарда!..

Когда это прозвучало в первый раз, да еще в одиннадцать вечера, старуха-соседка враждебно спросила в трубку:

– А кто звонит-то?

– Банионис, – прозвучало в ответ.

– Кто-кто?

– Донатас Банионис.

– Я те дам Банионис! Фулиган клятый! Счас в милицию позвоню! Двенадцать часов уже! – И старуха бросила трубку раньше, чем я успел выскочить в коридор из своей комнаты.

– Что вы сделали? – напустился я на нее. – Это же Банионис звонил!

– Какой еще Банионис? – Старуха поджала узкие губки и прищурилась, покачивая своей маленькой головкой, как кобра перед броском.

– Какой Банионис! Тот самый! Донатас Банионис! Артист!

– Еще чего! Будет сюда Банионис звонить! – усмехнулась старуха и показала на меня заспанным соседям, выглянувшим из всех комнат: – Видали? Банионис ему звонит! Писатель усратый!

И в этот момент телефон взорвался новым звонком.

Я схватил трубку.

– Паневежис вызывает Эдуарда. Будете разговаривать?

– Буду... – сказал я и, услышав голос Донатаса, стал извиняться: – Донатас Юозович, простите, тут моя соседка не узнала ваш голос... Вы получили новые эпизоды? Ну и как? Годится? Большое спасибо... Что? Не можете вылететь в Свердловск на кинопробу? А в Москву? Можете? На один день? Хорошо, мы снимем вашу кинопробу на «Мосфильме». Нет, мы обойдемся без павильона. Я учился с Геной Карюком, это гениальный оператор, он снимет вашу пробу за полчаса и в любом интерьере. Какую сцену вы хотите взять для пробы? Ну, если бы я выбирал, то я бы снял вас с Андреем и Лизой, чтобы посмотреть, как вы смотрите с Печерниковой и Филозовым...

Старуха и весь коридор внимательно слушали этот разговор, не веря своим ушам. Их «усратый писатель» разговаривал с самим Банионисом и обсуждал с ним кандидатуры их любимых кинозвезд Печерниковой, Соломина, Ивашова, Прохоренко!

Как вы понимаете, с этой минуты я перестал быть «усратым писателем» и сразу стал Эдуардом Владимировичем.

– Эдуард Владимирович, – выскакивала в коридор Люська, едва я переступал порог «слободки». – Вам звонили из Свердловска и с «Мосфильма». Вот, я записала фамилии...

– Эдуард Владимирович, вас просили позвонить какому-то Альмануху. Вот телефон... И наконец, через десять дней и тоже поздно вечером:

– Эдуард Владимирович, это вас. Из «Интуриста».

Я взял трубку.

– Эдуард? – спросил веселый и хмельной женский голос. За ним угадывался шум голосов и звон стаканов. – Это Алена, переводчица французской труппы. Мы уже в Москве, я звоню вам из номера Вирджинии в «Метрополе». У нас тут небольшая парти, и Вирджиния просит, чтобы вы приехали. Мы в 408-м номере.

Ангелы на моем плече охнули от изумления, а затем радостно засучили ножками. А я спросил в трубку:

– Алена, вы знаете, который сейчас час?

– Одиннадцать вечера...

– Значит, я доберусь до вас не раньше половины двенадцатого. Вы беретесь в полдвенадцатого ночи провести меня в «Метрополь», в номер к иностранке?

– Я? Нет... – смешалась она. – Но, может быть, вы как-нибудь сами пройдете...

– Ка-ак????!!! – воскликнул я в отчаянии. – Алена, вы же работаете в «Интуристе»! Вы что, не знаете наших правил? Если бы это была гостиница «Золотой колос» или «Турист», я бы дал трешку дежурной и прошел. Но «Метрополь»...

– Что же мне сказать Вирджинии? – жалобно спросила Алена. – Она стоит тут рядом и ждет.

– Спросите: хочет ли она, чтобы я показал ей Москву? И когда?

Не отводя трубку, Алена застрекотала по-французски, потом вернулась в родную русскую речь:

– Она хочет видеть вас завтра же! Но завтра у них весь день расписан – два спектакля и прием у Фурцевой. А послезавтра съемка на телевидении и вечерний спектакль. Зато послепослезавтра она не играет и готова освободить для вас весь день. Вас устроит?

– Вполне! Скажите ей, что я заеду за ней в десять утра.

– В десять она будет вас ждать в вестибюле! И она хочет сама сказать вам пару слов.

Я глянул на свое левое плечо. В глазах моих ангелов-хранителей был хмельной туман безумных мечтаний. Тем временем на том конце провода Алена отдала трубку Вирджинии, и я услышал ее низкий грудной голос:

– Бонжур! Гуд ивнинг. Хау ар ю?

– Бонжур... – ответил я тупо, как второгодник у классной доски. И снова: – Бонжур... Бонжур...

На том конце провода сказали еще что-то – тихо сказали, тихо и осторожно. Подождали ответа и... повесили трубку.

Я стоял в пустом коридоре коммунальной «вороньей слободки» и горестно слушал глухие гудки отбоя.

Может быть, мне только что по-французски признались в любви?

Может быть, у меня спросили, не хочу ли я, чтобы она немедленно примчалась ко мне на такси?

Может быть, меня позвали в Париж, в Лиссабон, в ночной загул по метельной Москве?

Ангелы, сидевшие на моем плече, ничем не могли мне помочь, ведь они учились вместе со мной в 171-й школе города Баку. То была самая хулиганская мужская школа в нашем районе, и посещение уроков английского там презиралось. Вместо них мы гоняли в футбол...

За два дня, которые были в моем распоряжении до Большого Свидания, я развил бешеную деятельность. Я объехал всех своих друзей и занял у них аж пятьсот рублей! Я нашел приятеля, брат которого Марк был преподавателем английского и французского в военной академии и хозяином автомашины «Жигули». Я уговорил этого Марка быть моим переводчиком и шофером и устроил ему больничный лист, чтобы освободить его от работы на весь день моего свидания с Вирджинией. И наконец, я уговорил зам. главного редактора «Комсомолки» Григория Оганова подписать письмо директору ресторана «Седьмое небо» на Останкинской телебашне с просьбой предоставить мне столик для интервью с Вирджинией Прадал, артисткой труппы «Комеди Франсез». В то время получить столик в только что открывшемся крутящемся ресторане «Седьмое небо» на Останкинской телебашне было равносильно получению допуска в Алмазный фонд Кремля – даже по брони «Интуриста» в этот ресторан можно было попасть только при записи за два месяца вперед!

Но чего не сделаешь ради Франции! Париж, как вы знаете, стоит обедни, а парижанка, да еще артистка...

Короче, 7 марта в десять утра синий, только что вымытый «жигуленок» Марка подкатил к парадному входу отеля «Метрополь». Из машины, мысленно повторяя только что заученную французскую фразу, выскочил начинающий советский драматург в кургузой меховой курточке, начищенных до блеска кирзовых ботинках и с букетом алых роз в руке. Пробежав по раскисшему от мартовской оттепели снегу, он толкнул тяжелую гостиничную дверь и оказался в мраморно-плюшевом вестибюле. Здесь слева была дверь в ресторан, справа – пост швейцара-гэбэшника, а впереди, преграждая путь к лифту, – стойка администратора. Возле этой стойки стояла высокая юная блондинка в лисьем жакете и в черных бархатных брюках-клеш. Французская актриса Вирджиния Прадал. Позади нее, на расстоянии одного шага, торчали два «спортсмена» с кирпичными лицами оперов службы наружного наблюдения КГБ. Не скрывая своего профессионального интереса, они в упор разглядывали французенку. А в ее позе был открытый вызов, как на картине Делакруа «Свобода, ведущая народ», и в ее огромных темных глазах пылал огонь бешенства. Который незадачливый начинающий советский драматург принял, конечно, за огонь любовной страсти.

Преодолев острые взгляды гэбэшников и швейцара, я подал Вирджинии букет и хотел сказать заученную французскую фразу, но Вирджиния тут же взяла меня под руку, прильнула плечом к моему плечу (от чего ангелы на этом плече разом потеряли дар речи) и быстро повела меня к выходу из отеля, не дав сказать ни слова.

Выйдя из гостиницы, я открыл заднюю дверь «жигуленка», пропустил в машину Вирджинию и с удивлением оглянулся на двух оперов, вышедших за нами следом. Все-таки такой открытой и даже демонстративной слежки за иностранцами я не ожидал.

Но тут из машины высунулась рука Вирджинии, она властно дернула меня за рукав, я плюхнулся рядом с ней на сиденье, а Марк тут же дал газ.

Я оглянулся и через заднее стекло увидел, что, провожая нас глазами, один из оперов почесал затылок. И было почему: утром, моя машину Марка, мы нарочно оставили его номера нематыми, а густо залепленными замерзшей грязью.

Впрочем, если бы КГБ было очень нужно, они бы повесили нам на хвост такую слежку, от которой не ушел бы никакой профессор даже Академии Генерального штаба.

Но мы такой слежки за собой не видели.

Между тем Марк уже всю переводил пулеметно французскую речь Вирджинии:

– Это невероятно! Вы не представляете, что со мной случилось! Ваш КГБ – это настоящее гестапо! Как вы тут живете?!!

– Вирджиния, успокойся! Что случилось?

– Фантастика! Вчера утром мне позвонили два журналиста из вашей газеты для молодежи. «Московский комсомолец», правильно? Они хотели взять у меня интервью. Я сказала: «Приходите сейчас, в ресторан, я успею поговорить с вами полчаса до съемки на телевидении». Хорошо. Через пятнадцать минут я спускаюсь из номера, эти два молодых журналиста уже в вестибюле и подходят ко мне. Мы идем в ресторан, садимся за столик и начинаем разговаривать. Тут к нам подходит метрдотель и говорит, что меня просят к телефону – там, у стойки портье. Я знаю, что у меня мало времени, поэтому я быстро иду из ресторана в вестибюль к портье. Там на стойке лежит телефонная трубка, я беру эту трубку и слышу, что там ничего нет, только гудок. Тогда я бросаю трубку и на своих длинных ногах бегу обратно и вижу, что двое мужчин, такие крупные, как наши *ажаны*, буквально под руки выводят моих молоденьких журналистов из ресторана на улицу. Через другую дверь. Тут я совершенно зверею! Слушайте, вчера мы были у мадам Фурцевой в Кремле, и она нам рассказывала, какая у вас замечательная культура и свобода, а сегодня журналистов, которые хотят взять у меня интервью, в шею выталкивают из гостиницы! Я стала просто как пантера! Я бросилась за ними, схватила этих журналистов и потащила назад. Но метрдотель мне говорит: ресторан закрыт! Ах, закрыт? Я беру этих несчастных журналистов вот так, двумя руками, как любовников, и тащу их в свой номер! Да, можете себе представить – я втокнула их в лифт, у них были такие белые лица, как этот снег, но я втокнула их в лифт, привела в свой номер, закрыла дверь на ключ и говорю: «Все! Берите интервью! Спрашивайте!» Но не успели они открыть блокноты, как кто-то стал стучать в мою дверь! Но я знаю законы! Нам перед поездкой сказали, что номер в гостинице – это моя территория! Поэтому я открыла дверь и вижу, что это те же идиоты из КГБ. И они говорят этим журналистам что-то по-русски. Но я не даю им сказать и двух слов, хватаю одного из них за пиджак, тяну, чтобы он переступил порог моего номера, и, как только он оказался на моей территории, бью его по лицу! И выталкиваю из номера! И закрываю дверь! И говорю: «Интервью продолжается! Ничего не случилось! Давайте ваши вопросы!» Но, конечно, эти журналисты встали и убежали из моего номера, как трусы. А я выскочила из гостиницы и помчалась на такси в наше посольство. И теперь наш посол будет писать протест вашему правительству за этот инцидент! А эти негодяи из КГБ не сводят с меня глаз, как только я появляюсь в вестибюле гостиницы! Ну и страна! Как вы тут живете? – перевел мне Марк ее рассказ и добавил от себя: – Поздравляю, старик! Хорошую девочку ты отхватил! Два дня в Москве, и уже сцепилась с гэбэшниками. Мне в моем личном деле только этого не хватает!..

Но минут через двадцать, покрутившись по Москве и убедившись, что никакого хвоста за нами нет (да и в самом деле, на кой черт была КГБ эта юная экзальтированная актриса!), мы поуспокоились и стали показывать нашей гостье златоглавую столицу нашей замечательной родины.

Мы провезли ее по улице Горького, по Патриаршим прудам и по Садовому кольцу. По Замоскворечью, по Новому Арбату и, конечно, на смотровую площадку на Воробьевых горах. Как вежливая иностранка, Вирджиния делала большие глаза и старательно восхищалась. Но я видел, что огонь в ее глазах начинает гаснуть. То ли серая мартовская Москва с грязными сугробами вдоль тротуаров и хмурыми москвичами в очередях на автобусных остановках сбивала ее с романтической волны, то ли присутствие Марка. Ведь она настраивалась на свидание со мной, она, надо думать, ждала этого свидания не меньше меня, она, может быть, была даже слегка влюблена в этого странного русского автора, который согрел ее своей шапкой на замороженном летном поле Внуковского аэродрома. Но вместо долгожданного любовно-лирического свидания в экзотической, загадочной и заметенной снегами Москве – эта туристическая прогулка с франкоговорящим гидом, а я, как немой истукан, лишь сижу рядом, тупо хлопаю глазами и при каждом ее вопросе смотрю на Марка в ожидании перевода. Но, в конце концов, рассказывать о Москве Марк мог ей и без меня, и очень скоро они стали общаться меж собой напрямую, а я, как увядший фикус, тоскливо смотрел в окно, не отвечая даже на истошный

вой своих ангелов-хранителей, которые снова стали причитать, как евреи на кладбище: «Боже, посмотри, кому ты послал такую замечательную девочку! Он же идиот, поц, мишигинэ коп! Вместо того, чтобы отвезти ее к себе и трахнуть, как полагается, он устраивает ей прогулки по Москве! И какой-то Марк кадрит ее на его свидании! Господи, ну пожалуйста, избавь нас от этого ублюдка!..»

Однако я еще не сдавался. Я знал, что у меня в запасе есть главное оружие – романтический обед на «Седьмом небе»! Когда я положу к ее ногам всю Москву, когда вскипит в наших бокалах шампанское, когда музыка соединит наши тела в танце и моя рука ляжет на ее талию...

Без четверти два мы подъехали к Останкинской телебашне и стали в небольшую очередь счастливицков, у которых, как и у нас, были билеты в «Седьмое небо» ровно на 14.00. Пятнадцать минут ожидания на морозе разожгли наш аппетит, а меховая шапка, которую я снова надел Вирджинии на голову, заставила ее улыбнуться мне той туманно-ласковой улыбкой, от которой ангелы на моем плече опять воспрянули духом. Я взял Вирджинию за руку, почувствовал легкое пожатие ее тонких холодных пальцев и тут же полуобнял ее – якобы чтоб согреть. И она прильнула ко мне своим высоким крутым бедром и плечом. Да, господа, все возвращалось, и еще ничего не было потеряно, несмотря на мою идиотскую затею с экскурсией по Москве! Вирджиния Прадал, девятнадцатилетняя француженка, была у меня в руках, ее дыхание смешивалось на морозе с моим дыханием, и ее темные теплые глаза снова вопрошающе и зовуще смотрели мне в душу...

И вот ровно в 14.00 скоростной лифт вознес нас на «Седьмое небо». Официант подвел нас к столику, покрытому белой крахмальной скатертью. На этой скатерти, как и на всех остальных столах, стоял стандартный набор: бутылка «Советского шампанского», три бутылки минеральной воды нарзан и три салата «Оливье». Для тех, кто никогда не был в «Седьмом небе», скажу, что устройство его довольно простое: представьте себе шпиль, на который надели шарикоподшипник. Наружное кольцо шарикоподшипника – узкая застекленная галерея со столиками – медленно, со скоростью одного оборота в час, вращается вокруг неподвижного внутреннего кольца, в котором размещены кухня, подсобные помещения и лифт телебашни. Ни о каких танцах тут и говорить не приходится, для них нет места. А Москва, которую я собирался положить к ногам своей французской возлюбленной...

О, эта Москва требует описания с красной строки.

Но сначала я должен сказать, как я люблю Москву, иначе вы поймете меня превратно. Конечно, я не стану произносить проникновенных монологов о любви к Москве на манер знаменитого монолога Татьяны Дорониной «Любите ли вы театр?». Но я уже признавался в романе «Московский полет» и готов повторить снова и снова, что первые два года эмиграции я каждую ночь реэмигрировал в Москву – я во сне часами бродил по ее улицам, переулкам и набережным, меня еженощно преследовали запах московской сирени и голоса подмосковных электричек. И когда в 1989 году я впервые прилетел в Москву после одиннадцати лет отсутствия и вдохнул на Садовом кольце эту прогорклую смесь июльской московской пыли, тополиного пуха и паров нечистого бензина, я вдруг подумал, что этот воздух родины мне дороже и вкусней озона Сорренто, Флориды и даже Сан-Франциско.

И вот теперь, после такого короткого отступления, вернемся на «Седьмое небо» Останкинской телебашни в марте 1973 года. Пейзаж с этой поднебесной высоты оказался таким, что мое романтическое сердце вместе со всеми моими ангелами-хранителями ухнуло вниз без всякого лифта. Потому что от Останкино и до самого Кремля перед нами расстились только грязные крыши, покрытые серым мартовским снегом и расчерченные провалами грязно-серых проспектов. И – некуда нам было деться от этого убийственного пейзажа, от этих разинутых и щербатых ртов московских улиц! Некуда – потому что шарикоподшипник «Седьмого неба» уже медленно покати́л нас вокруг телебашни, и мы, как галерники, оказались приговорены к

часовому пребыванию в этом чертовом колесе, и вокруг нас на все 360 градусов расстилалась унылая, серая, низкорослая и грязная мартовская Москва...

И меню «Седьмого неба» оказалось под стать этому вымороченному пейзажу – лангет, ромштекс и бифштекс, которые были приготовлены из отходов подошвенной кожи фабрики «Скороход». А шампанское, на которое я возлагал столько надежд... Боже мой, подумайте сами, кому я предлагал это «Советское шампанское»? Француженке! Парижанке, для которой Шампань и шампанские вина – как для нас астраханские арбузы! Можете представить выражение ее лица, когда она попробовала это шампанское краснодарского производства...

Я не знаю, как я отсидел этот час. Даже в кресле зубного врача, когда мне удаляют нерв, я страдаю меньше, чем я страдал тогда, на «Седьмом небе», мать его в три креста! Когда нас выпустили из этой поднебесной тюрьмы, когда мы спустились наконец с этого усратого неба на простую землю, ни о каком романтическом любовном приключении уже не могло быть и речи. Как говорил Владимир Маяковский, «любовная лодка разбилась о быт», но я не хочу употреблять здесь эту обезличенную возвратную форму глагола «разбиваться». Я, я сам, своими руками, а точнее, своей затеей с романтической прогулкой по Москве засушил тогда и утопил в грязном мартовском снегу тот экзотический цветок странного влечения ко мне юной парижанки Вирджинии Прадал.

Но мог ли я признать свое поражение и, несолоно хлебавши, вернуть эту Вирджинию в «Метрополь»?

Нет, конечно! Пусть я постеснялся отвезти ее в свою конуру в «вороньей слободке», заселенную мухами, алкашами и крикливым поносником Васькой Капустиним, пусть я не мог умчать ее в санях куда-нибудь за город на дачу с русской баней и турецкими коврами (у меня, к стыду моему, такой дачи нет и по сей день), но хотя бы накормить ее по-человечески, по-московски я должен был, господи?

Мы ринулись в Дом кино.

То была моя вотчина, моя территория, мой профессиональный клуб. Там меня знала каждая официантка, и там, я был уверен, нам не дадут бифштекс из подошвы и «Оливье» с прокисшим майонезом. К черту романтику, лирические грезы, сопли и слюни платонической франко-русской дипломатии! Мы были молоды, и мы хотели жрать – по-русски, по-французски, по-еврейски, как хотите! Мы хотели рвать сочное мясо молодыми зубами и запивать его красным молдавским вином и русской водкой. Мы хотели обниматься, танцевать лезгинку и танго, целоваться взасос на лесной лыжне и срывать с любимых одежды. Не забывайте, что, когда вам двадцать и тридцать лет, никакие мартовские снега не могут остудить огонь ваших самых высоких и самых низменных желаний.

Бросив машину в снежном сугробе у подъезда Союза кинематографистов, мы, не дожидаясь медлительного лифта, взбежали на четвертый этаж, в ресторан Дома кино, лихо оккупировали самый ближний к кухне столик и заказали невозмутимой, как княгиня, официантке Карине весь джентльменский набор: грибные жюльены, сациви, гурийскую капусту, лобио, одесскую закуску, салаты, мясо по-суворовски, шашлыки по-карски, осетрину на вертеле и, конечно, красное вино и пшеничную водку. И только после этого огляделись по сторонам. Вдали, в соседнем ряду столиков, сидели за уже накрытым столом Эдвард Радзинский, Костя Щербаков и Татьяна Дорониная. Дорониная приветственно помахала рукой Вирджинии, и та сказала нам:

– О, это мадам Дорониная – ваша самая знаменитая актриса! Я познакомилась с ней на приеме у мадам Фурцевой. Я сейчас вернусь, я должна ей что-то сказать... – И, порывисто вскочив, ушла к их столику, расцеловалась там с Дорониной.

Конечно, светские львы Радзинский и Щербаков тут же встали и гостеприимно усадили Вирджинию рядом с Дорониной. И налили ей вина, и стали развлекать беседой, а мы с Марком сиротски сидели за своим столом, уже накрытым обильной закуской. Потом, видя, что

Радзинский и Щербаков не спешат отпустить мою девушку, мы с Марком пропустили по первой рюмке, по второй, по третьей... И вдруг, именно тогда, когда водка и острая грузинская закуска уже разогрели нам кровь, я увидел, что Вирджиния возвращается к нашему столику... со слезами на глазах!

Я резко повернулся к Щербакову и Радзинскому, смесь жаркой крови и пшеничной водки бросилась мне в голову. С Радзинским я был знаком только шапочно, но с Костей Щербаковым мы были в приятельских отношениях еще со времен его работы в «Комсомолке», и я не мог себе представить, чтобы этот мягкий интеллигент и знаменитый Радзинский, автор «Бесед с Сократом», «104 страниц про любовь» и других театральных шлягеров, могли оскорбить или обидеть французскую актрису. Но слезы, крупные, как градины, слезы катились по ее щекам, размазывая ресничную тушь, и это требовало немедленной мести, дуэли, драки!

Однако сидевшие поодаль Радзинский и Щербаков, встретив мой взгляд, лишь дружески подняли свои бокалы в самом мирном приветствии.

– Что случилось? – спросили мы с Марком разом по-русски и по-французски, едва Вирджиния плюхнулась на стул за нашим столиком.

– Это ужасно! – сказала она, промокая свои слезы батистовым платком. – Это ужасно!

– Что ужасно? Что случилось? – нетерпеливо спрашивал я.

– Ваша страна! Как вы тут живете? Это же тюрьма! – Она отпила минеральной воды и продолжила: – Ужасно! Ужасно! Позавчера ваш министр культуры мадам Фурцева сказала нам, что мадам Доронина – ваша самая знаменитая актриса. Это правда так?

– Правда, еще бы! – подтвердили мы.

– И я захотела сделать ей что-то приятное. Тем более что она никогда не была в Париже! Я спросила, когда у нее отпуск, и, оказывается, в апреле у нее свободна целая неделя! Я сказала: приезжайте в Париж, ко мне в гости, я вас приглашаю. У меня квартира в Париже, а у моих родителей дом в Нормандии. Я сказала: вы только возьмите билет на самолет, а всю неделю в Париже вы будете моей гостьей! И знаете, что она сказала? Что она не может просто так сесть в самолет и полететь в Париж. Ей нужно просить разрешение у КГБ и милиции. Неужели это правда? Боже мой! Самая знаменитая актриса России не может на неделю полететь в Париж? Как вы можете жить в такой тюрьме? – Тут Вирджиния показала нам салфетку с записью рукой Дорониной: «Tatyana Doronina, Teatr Mayakovskogo, tel. 243-12-27». – Смотрите! Она даже побоялась дать мне свой домашний телефон!

И крупные слезы – не театральные, господа, а настоящие горькие женские слезы снова брызнули из ее огромных черно-бархатных глаз.

– Я не могу есть! – сказала она расстроено и отодвинула от себя тарелку с прекрасным куском мяса по-суворовски. – Я не могу тут есть, я не могу тут дышать, мне так вас жалко! Вы просто рабы, рабы! Вы живете в тюрьме! Боже мой, если б вы только знали, в какой вы живете тюрьме!..

Мы не спорили. Мы вдруг увидели себя ее глазами – взрослые мужчины за колючей проволокой советских границ, мы тут мнили себя артистами, профессорами, художниками, жуирами и победителями жизни. Мы ездили в машинах «Жигули» и «Волга», снимали кино, играли в театрах, писали пьесы и книги, пили и ели в закрытых клубных ресторанах и срывали аплодисменты и гонорары. Но на самом деле мы были всего-навсего лагерной самодеятельностью, *шарашкой* соцреализма, *придурками*, освобожденными от принудительной лагерной работы, и *оленьями*, которым тюремное начальство иногда подбрасывало со своих номенклатурных складов пару кусков сочного мяса по-суворовски. Как сказал мне однажды замечательный и уже покойный сценарист Юра Клепиков, «нас просто освободили от обязанности каждое утро пробивать карточку при входе в рабочую зону». А во всем остальном мы были такими же зеками лагеря социализма, как и все остальные 280 миллионов жителей СССР.

Девятнадцатилетняя французская актриса Вирджиния Прадал поняла это на третий день своего пребывания в Москве. И расплакалась от жалости к нам и от презрения к нашей рабской жизни и нашему «элитному» пайку.

Какая уж тут могла быть любовная интрига?

Мы с Марком кое-как доели свои шашлыки и отвезли Вирджинию в «Метрополь». Она сказала, что будет мне звонить, я сказал, что буду звонить ей, но это было так, для светской проформы. Потом я долго уговаривал Марка взять вино и водку, которые мы не допили в ресторане и которые сунула нам официантка Карина при выходе. Но Марк отказался, он сказал, что жена не поймет, если он явится домой с бутылками. Он высадил меня на улице Кирова, я поднялся в свою «воронью слободку» и, не раздеваясь, рухнул на свою узкую и постылую, как тюремные нары, койку. Ангелов не было на моем плече, они, наверное, все-таки уговорили Бога избавить их от службы «на этого идиота». И, свободный от их постоянных скандалов и разом потерявший интерес к киношной суете, как автогонщик, выпавший из трека, я провалился в сон – мгновенно и без сновидений. Так в армии в солдатскую пору своей жизни я проваливался на своем соломенном матрасе в темную яму забытья после целого дня армейских учений.

Я проснулся за полночь – то ли оттого, что забыл выключить свет, то ли от ощущения, что кто-то есть в моей комнате. Нехотя открыл глаза и увидел Люську. Она стояла у двери в пестреньком бумазейном халате и в тапочках на босу ногу. Ее светлая, цвета спелой кукурузы, коса была распущена, и волосы в беспорядке просыпались на ее плечи.

– Вы спите? – спросила она.

– Угу... – промычал я.

– У вас дверь не закрыта и свет горит. Я подумала: чё это он одетый спит? Может, вам плохо? Вам плохо, а?

– Угу...

– С перепоею, что ли? – Она посмотрела на плохо завернутый пакет с бутылками из ресторана Дома кино, который лежал на стуле. – Может, похмельиться дать? У меня рассольчик есть...

– Нет, спасибо. – Я сел на кровати и утер сонное лицо. – Который час?

– Ночь уже. Да вы спите, чего там! Токо разденьтесь. Я ж так заглянула, думала: может, плохо человеку? У вас чего – с девушкой чё не так? Да? С артисткой какой-нибудь? – Она каким-то непонятным образом уже оказалась у подоконника, на котором лежали стопки фотографий актеров и актрис из актерского отдела «Мосфильма». – Надо же, какие у вас королевы знакомые!

– Положи, Люсь, не трогай. Мне это вернуть надо.

Но она сделала вид, что не слышит, и спросила через плечо, стоя ко мне спиной:

– А правда, что у вас Банионис будет сниматься?

– Ну, будет.

– И Ивашов?

– Ага...

– И Соломин?

– Ну...

– Надо же! И Печерникова?

– Люсь, шла бы ты к своему Пашке, а?

– Зачем? – спросила она, замерев.

– Ну, я не знаю... Ты ж ему жена...

И вдруг она повернулась ко мне всем телом и спросила в упор – с жесткой и горькой какой-то усмешкой:

– А то вы не знаете, какая я ему жена! Вся квартира знает. Кроме Паши, конечно! Он у меня немощный, понимаете?

– Ну, это я давно понял. А чего ж ты за него замуж вышла?

– Так я вам и расскажу! – усмехнулась она. – Чтоб вы с меня кино сделали?!

– Ну, как хочешь. Я не заставляю...

– А выпить дадите?

Я посмотрел ей в глаза, но она не отвела взгляда. Я кивнул на пакет с бутылками:

– Возьми.

Она шагнула к пакету, спросила:

– А вы со мной выпьете?

– Да выпью, конечно.

– Хворые глаза у вас... Как у собаки побитой... – сказала она. И встрепенулась, переключившись на содержимое пакета: – Ого, сколько тут! И «Пшеничная»! А говорят, что евреи не пьют... – Она зашуршала бумагой, распотрошила пакет. – Ой, у вас тут и лаваш! – И уже по-хозяйски быстро шуранула по моей тумбочке, вытащила из нее граненый стакан и алюминиевую кружку, спросила по-деловому: – С белой начнем или как?

Я хотел снова поймать ее взгляд и прочесть, что там у нее на уме, но она, усмехнувшись улыбкой Моны Лизы, увела свои глаза, встряхнула головой, откинула волосы с плеча и, уже не спрашивая меня, налила нам в стакан и в кружку – солидно налила, граммов по сто пятьдесят. Села на стул и только после этого глянула мне в глаза.

– За Пашу хотите знать? Пожалуйста! У нас с ним с третьего класса любовь. И я уже в пятом классе знала, что выйду за него замуж и что у нас будет куча детей. И как только мы школу окончили – сразу в загс пошли, в тот же день, как аттестаты зрелости получили. А еще через три месяца его в армию забрали, в подводный флот, – у него же руки золотые, он мне в шестом классе клавесин собрал, сам, своими руками! Ну, а через пять месяцев он из этой армии домой вернулся. Дозу схватил в Северодвинске. Испортили они мне мужа, понимаете? Отняли! В двадцать лет – импотент! Такое вот кино... Интересно?

Теперь ее синие глаза были в двух шагах от меня, и я видел в них глубоко, до дна. Я видел в них прекрасный и страшный фильм XX века – не «Девять дней одного года», а нечто пострашней, чем «Летят журавли», или «Хиросима, любовь моя», или «Ромео и Джульетта». В этом новом «Ромео и Джульетте» русского Ромео-Пашку призывают в советский подводный флот, облучают и делают импотентом, а русская Джульетта-Люська, вместо того чтобы сойти с ума, продолжает нянчить своего немощного мужа, а по ночам...

– Ну что, выпьем? – перебила Люська мои мысли. – За ваше кино!

– Спасибо, Люсь. Но я суеверный, я за свое кино не пью. Давай лучше за жизнь. Знаешь, у евреев даже тост такой есть: «Ла хаим! За жизнь!»

Я поднял свою кружку, чтобы чокнуться с Люськой, но она отвела свой стакан и покачала головой:

– Нет, милой, а я за жизнь не пью. Проклятая наша жизнь, зечья!

Я даже пошатнулся от изумления. Второй раз за один вечер две юные девятнадцатилетние женщины – француженка и русская – сказали мне коротко и просто про то, где я живу.

– Г-мм, да... – ошарашенно прокашлялся я. – Ну, давай просто выпьем. За дружбу народов.

– Ага! – Она чокнулась своим стаканом с моей кружкой. – И за мудрое руководство! Поехали!

И без остановки, залпом выпила полстакана водки. Зажмурила глаза, поднесла к носу свой кулачок, послушала, как водка покатила вниз и разлилась по ее молодому телу. А потом встала, прошла к двери, повернула ключ в замочной скважине, повернулась ко мне лицом и вдруг разом, одним движением освободила себя от своего пестрого бумазейного халата.

Прекрасное и абсолютно нагое юное тело цвета сливочного мороженого, налитое и спелое, как июньское яблоко апорт, на стройных ногах, с треугольным клочком золотого руна на лобке, с алебастровой грудью Венеры и темными вишнями сосков, с водопадом пшеничных волос, отброшенных дерзким жестом за спину, и с хмельными синими глазами, жаждущими яростной плотской любви, как пустыня жаждет дождей, – вот что возникло передо мной в желтом свете моей пыльной и загаженной мухами лампочки, свисавшей с потолка без всякого абажура.

– Ну как? – спросила Люся с каким-то горьким вызовом в голосе. – Гожусь я в артистки?

Я молчал. Она годилась в Лайзу Миннелли, в Софи Лорен, в Николь Курсель и даже в новую Венеру Боттичелли. Хотя, честно говоря, все они, вместе взятые, не стоили в эту ночь и ее мизинца. Потому что ни одна из них не смогла бы, я думаю, так естественно и просто выйти из своих стоптанных тапочек, легкой походкой по бурому крашеному полу пересечь убогую и полупустую комнату и вдруг опуститься перед мужчиной на пол и молча, без единого слова снять с него тяжелые и мокрые кирзовые ботинки.

Только Ира Печерникова да, пожалуй, Маргарита Терехова могли бы сыграть ту Люську – не блядь, не давалку, которая шастала по ночам мимо моих дверей к «холодному фотографу», а раненую птицу, которую Бог наградил жалостливой русской душой и ненасытным телом донской казачки...

Наутро в коридоре нашей «вороньей слободки» появился свердловский режиссер Борис Халзанов. Я заплатил старухе-соседке пятнадцать рублей – свою месячную плату за комнату, взял свой чемодан и пишущую машинку «Эрика», и мы с Халзановым укатили в болшевский Дом творчества писать режиссерский сценарий фильма «Открытие», далекого от реальной жизни, как Норильск от моей «вороньей слободки» на улице Кирова. Люся приехала ко мне через три дня – утром, вместо своего техникума. Она сказала, что мне дважды звонили из гостиницы «Метрополь» и просили перезвонить в номер 408. Но я не стал звонить в «Метрополь» и еще через неделю узнал из газет, что гастроли в СССР парижского театра «Комеди Франсез» успешно закончились. В тот же вечер в теленовостях показали министра культуры Фурцеву. Провожая французских артистов во Внуковском аэропорту, она сказала, что их визит послужил делу укрепления культурных и дружеских связей наших народов. Французы, стоявшие вокруг нее, вежливо хлопали. Но Вирджинии не было в первых рядах, а дальше камера не достала.

Что еще вам сказать?

Из Болшево я уже не вернулся в «воронью слободку», а остался, пока деньги были, в Доме творчества. Первые пару месяцев Люська приезжала ко мне довольно часто, и я даже подумывал, не поселиться ли нам втроем – я, Люська и Пашка. Как Маяковский и Лиля и Осип Брик. Но потом съемки в Свердловске, в Норильске и в Вильнюсе оторвали меня от Люськи, и наш роман иссяк сам собой.

А спустя десять лет, осенью 1983 года, когда я эмигрировал из СССР и в Европе стали выходить мои книги, несколько моих европейских издателей пригласили меня в рекламную поездку по Голландии, Англии, ФРГ, Норвегии и Франции. Накануне этой поездки я позвонил из Нью-Йорка в Париж своему французскому переводчику Алану Прешаку и попросил его узнать, работает ли еще в «Комеди Франсез» актриса Вирджиния Прадал.

– Старик! – сказал мне Алан. – О чем ты говоришь! Мадам Прадал – наша ведущая театральная актриса! – И вдруг спросил с подозрением: – Подожди! Уж не в ее ли честь ты назвал Вирджинией главную героиню в «Чужом лице»?

– В ее, – признался я и попросил: – Ты можешь найти ее телефон?

Еще через месяц мы с моей первой женой оказались в Париже. И в первый же день прямо из квартиры Алана я позвонил Вирджинии. Теперь, после четырех лет эмиграции, я уже мог

объясняться с ней по-английски без переводчика. Но я не ожидал, что при звуках ее глубокого низкого голоса что-то подожмет у меня в животе и мой собственный голос дрогнет и пресечется. И хотя в ее интонациях я легко угадал эдакую театрально форсированную, как со сцены, подачу восторгов по поводу моего звонка, но там, за этой театральностью, и не столько в словах, сколько в паузах между ними, мне почудилось искреннее волнение. Вирджиния сказала, что она замужем, что ее муж врач, что они с мужем читали в «Ла Монд» рецензию на «Красную площадь», что у них шестилетний сын и что они приглашают нас в ресторан: «Куда за вами заехать? Когда?»

Не скрою, господа, перед этим вторым, десять лет спустя после первого, свиданием я волновался не меньше, чем тогда, в марте 1973-го. И моя жена насмешливо наблюдала за тем, как я нервно завязываю и развязываю галстук...

Темно-серый «ситроен» появился у подъезда ровно в семь вечера. За рулем сидел высокий симпатичный мужчина с профилем и осанкой главного героя американского телесериала «Смэш», а из правой двери машины стремительно выскочила высокая незнакомая шатенка в длинной норковой шубке и распахнула руки:

– Эдвард, вэлкам ту Парис!

И только по этому порывистому взмаху рук я узнал в незнакомке Вирджинию Прадал.

Они повезли нас куда-то в сторону «Мулен Руж», и по дороге Вирджиния с прежней экзальтированностью сыпала по-английски:

– Эдвард, ты помнишь, ты повез меня в Москве в свой клубный ресторан? О'кей, у нас тут нет клуба артистов, но у нас тоже есть свой ресторан. Ну, или почти свой! И знаешь, как он возник? Пятнадцать лет назад, когда мы были нищими студентами и начинающими артистами, мы забежали в маленькое кафе напротив «Комеди Франсез» и на последние франки брали там чашечку кофе и какой-нибудь сэндвич. А когда у нас совсем не было денег, хозяин этого кафе, он грек, кормил нас просто так, в долг. Или даже даром. Время шло, мы стали известными, а потом знаменитыми, но все равно два раза в день – до спектакля и после него – мы забежали к Теодорусу выпить кофе и поболтать. И его маленькое кафе стало самым популярным театральным кафе во всем Париже. И два года назад он очень выгодно продал это кафе, так выгодно, что за те же деньги купил двухэтажный ресторан в районе «Мулен Руж». Но разве мы можем бросить своего Теодоруса? Весь театральный Париж теперь ездит в его новый ресторан, и сейчас мы тоже едем туда...

В ресторане я разом понял, какого калибра известности достигла Вирджиния в Париже. Все столики в ресторане – и в партере, и на втором этаже, в амфитеатре, – были заняты, но, едва мы вошли, как все посетители развернулись к нам, ну, точнее – к Вирджинии, и какие-то парижские звезды театра и кино приветственно замахали ей руками со всех концов. Так в ресторанах в Доме кино и в ВТО встречали когда-то Людмилу Гурченко, Татьяну Самойлову, Володю Высоцкого. А хозяин ресторана грек Теодорус – седой крепыш с крепким, как орех, лицом – быстро подошел к нам, расцеловался с Вирджинией и с ее мужем и сам повел нас наверх, за столик в эдакой отдельной ложе на втором этаже. И уже от себя лично поставил на стол свой презент Вирджинии – бутылку коньяка «Мартель». Нет, подумал я, *так* ни в Доме кино, ни в ВТО не встречали даже Шульженко! И Донатаса Баниониса *так* не встречали даже в ресторане «Вильнюс». *Так* лишь единственный раз встречали при мне Аркадия Райкина, но не в Доме кино, а в кооперативном универмаге подмосковного поселка Тарасовка, куда мы с Аркадием Исааковичем заглянули как-то в поисках импортного костюма. Директор универмага был столь потрясен появлением в его магазине самого Райкина, что не только притащил в свой кабинет все имеющиеся у него в заглазнике финские костюмы, но и поставил на стол бутылку армянского коньяка «Арапат»!..

Теперь, десять лет спустя после нашего первого свидания, мы с Вирджинией снова сидели друг против друга, смеялись, рассказывали какие-то истории, поднимали тосты за встречу, за прошлое и за «дружбу народов» и изредка, словно невзначай, пытливо заглядывали друг другу в глаза. Не знаю, что читала она в моих глазах, но в *ее* глазах я не мог прочесть ничего – темные, эмалево-шоколадные ее глаза не пропускали меня в себя, они были, как два маленьких лакированных щита. И только в самом конце вечера, когда после еды, коньяка и сыров ее муж увел мою жену танцевать, Вирджиния вдруг в упор посмотрела мне в глаза и спросила, крутя длинными пальцами ножку своего бокала:

– Тогда, в Москве... Я звонила тебе несколько раз. Почему ты не ответил?

Я скосил глаза к своему левому плечу, ожидая подсказки своих мудрых и поседевших вместе со мной ангелов-хранителей.

Но вместо них я увидел Люську – такой, какой тогда, десять лет назад, в ту памятную ночь моего поражения на французском фронте, она вышла из своих стоптанных тапочек и пошла ко мне по бурому полу моей обшарпанной комнаты в «вороньей слободке».

Я поднял глаза на Вирджинию и сказал легко, как говорят только лодыжи:

– О! Тогда, на следующий день после нашей встречи, я уехал из Москвы на киносъёмки. – И поднял свой бокал. – Давай выпьем знаешь за что? За жизнь. За ее мудрое руководство...

## Глава 2

### Мой одесский роман, или Два с половиной провала в начале карьеры

Конечно, я помню ее имя, но здесь назову ее просто Олей. И еще пару имен и фамилий я заменю в этой истории. Зато я не скрою от вас ничего остального – вплоть до интимных подробностей. Как раз вчера я прочел, что «память человека сохраняет все, что когда-либо он видел, слышал или думал... и за 60 лет жизни человек получает и хранит от 10 в семнадцатой степени до 10 в двадцатой степени бит информации...» Правда, ученые никак не могут установить где мы эту информацию храним – по их подсчетам, клетки нашего мозга могут с трудом вместить лишь половину этого объема. Однако стоит любого из нас погрузить в гипнотическое состояние, как мы можем с поразительной достоверностью вспомнить мельчайшие события, происшедшие с нами десятки лет назад, а порой и события, которые случились даже не с нами, а с нашими предками!

Но я не собираюсь ждать, пока ученые найдут эту тайную кладовую нашей памяти в каких-нибудь загадочных нейронах, в ДНК или в так называемом «морфогенетическом поле». Потому что мой одесский роман я храню куда ближе...

...Да, я помню ее тело – тонкое и гибкое, как у молодой ящерицы, прохладно-шоколадное, как эскимо, и знойное, как южный ветер в Эйлате. Я помню ее миндальное лицо, ее эма-лево-черные глаза, ее тяжелые медные волосы, ее сухую, как парусина, кожу, пахнущую хной и черноморским озоном, ее теплые карминные губы, маленькие жадные зубы и шумное, с при-стоном дыхание без единого внятного слова даже в самые безумные моменты нашей короткой любви.

Дело было в Одессе в знаменитое холерное лето 1971 года. Директор Одесской киностудии Геннадий Збандут вызвал меня из Москвы срочной телеграммой: «СМОНТИРОВАТЬ МАТЕРИАЛ ВАШЕГО ФИЛЬМА „МОРЕ НАШЕЙ НАДЕЖДЫ“ НЕВОЗМОЖНО ТЧК СТУДИЯ НА ГРАНИ БАНКРОТСТВА ТЧК СРОЧНО ВЫЛЕТАЙТЕ ТЧК ЗБАНДУТ».

Черт возьми! «Море нашей надежды» было моим вторым фильмом и грозило мне вторым провалом! За что? Год назад мой приятель Жора Овчаренко, которому я еще во ВГИКе помог сделать его курсовую и дипломную режиссерские работы и которому я спасал его первый фильм в Алма-Ате, на «Казахфильме», – так вот, год назад этот Жора прилетел в Москву, разыскал меня в моей очередной временной берлоге и сказал:

– Старик, я перехожу на Одесскую студию. Збандут дает мне постановку, если я найду сценарий на морскую тему. Ты должен написать этот сценарий за три месяца, чтобы зимой я уже снимал павильоны, а летом вышел на натуру.

– Ты с ума сошел! Как я могу написать морской сценарий, если я даже плавать не умею!

– А зачем тебе плавать? Тебе нужно писать, а не плавать. Собирайся, мы летим в Одессу. Познакомишься там с моряками Одесского пароходства, и мы напишем сценарий вместе, за пару месяцев!

Это было замечательным свойством большинства советских режиссеров – с ходу становиться соавторами вашего сценария даже в том случае, если они, как мой друг Жора, писали слово «корова» через три «а». Ей-богу, я не свожу в этой книге ни с кем никакие счета, я живу уже третью жизнь и давным-давно простил всем, кто насолил мне в моей первой, подсоветской жизни. И слава Богу, что этот Жора еще жив, – я не смог бы написать этого, если бы его уже не было, как многих моих бывших друзей и сверстников...

Да, не знаю, как сейчас, а в молодости Жора был замечательным парнем. Компанейский, щедрый, открытый и ростом под два метра. Его единственным недостатком была его полнейшая и необоримая безграмотность. Я не уверен, что он знал грамматику в объеме второго класса начальной школы. Потому что даже моя американская дочь после десяти уроков русского языка писала слово «корова» с двумя «а», а после двадцати – с одним. А Жора и на пятом курсе ВГИКа писал с тремя, клянусь! Как его приняли во ВГИК, было для меня полнейшей загадкой на протяжении всех лет нашего обучения – до тех пор, пока нам не пришлось сдавать выпускные экзамены. От экзаменов по иностранному языку, эстетике, марксизму-ленинизму и еще по какому-то «страшному» предмету Жору освободили на основании представленной им медицинской справки, в которой черным по белому, за подписью главврача какой-то больницы, удостоверенной круглой печатью, значилось, что он – глухонемой! Да, именно так – глухонемой, и если вы сомневаетесь в достоверности этого факта, можете проверить его у Жориных сокурсников – режиссеров Михаила Литвякова, Валерия Гурьянова, Владислава Ефремова и Михаила Закирова.

Но в конце концов кто сказал, что кинорежиссеру обязательно знать грамматику? Даже я не стану на этом настаивать. Потому как что такое кинорежиссура? Это некое мистическое умение перенести на экран то, что написано в сценарии. А если быть предельно точным, то весь процесс выглядит так: автор, то есть сценарист, придумывает некое киношоу, некую киноисторию, некую визуальную мистерию, которую он кодирует словами, и набор этих слов называется киносценарием. А задача режиссера-постановщика – перекодировать эти сны в материальные зрительные образы и запечатлеть их на киноплёнке. Вот и все. Все исключения – даже Феллини или Тарковский, которые, согласно лживым слухам, работали без сценариев, – только подтверждают это правило. К тому же и Феллини был по своей первой профессии сценаристом. А потому, на мой взгляд, самый гениальный киновыдумщик не сможет – не имея он бычьего характера и административных способностей – стать настоящим кинорежиссером и навсегда останется только «подающим надежды» киномальчиком в коротких штанишках. Зато почти любой человек с выдержкой генерала Карбышева и организаторским даром Лужкова может стать коммерческим или, как еще говорят, «крепким» режиссером и делать один успешный фильм за другим. Не фестивальные шедевры, возможно, но и ненамного хуже них. Да, я готов повторить это где угодно, даже самому Марлену Хуциеву: талант режиссера есть талант воспроизводства сценария на экране – с помощью актеров, оператора, художника и т. д. И не бывает хорошего фильма по плохим сценариям, а обратных примеров – тьма. В западном и особенно в голливудском кино нас в первую очередь поражает именно это мастерство полного воплощения на экране того, что было задумано изначала, еще до первого хлопка «хлопушки» – там, кажется, просто нет режиссера, который не умел бы снять то, что записано в сценарии. А в России почти каждый режиссер относится к сценарию, как циркач к подкидной доске – лишь бы оттолкнуться и отпрыгнуть подальше!..

Нет, если бы мне пришлось преподавать во ВГИКе, я бы первые занятия с режиссерами посвятил не системе Станиславского, а системе закалки характеров по программе боевой подготовки спецотряда «Альфа» – для преодоления собственной «гениальной» расхлябанности и чудовищного бедлама, который называется «кинопроизводство». И зачеты у своих студентов принимал бы только по одному показателю: сколько процентов литературной записи донесено до экрана? Даже если ты и вправду гений, даже если ты новый Тарковский или Параджанов – пожалуйста, напиши все, что ты выдумал, на бумаге, закодируй это словами до последней ноты, как Чайковский кодировал в ноты свою гениальную музыку, а потом перенеси это на экран, сумей – через весь бедлам оргработы, вопреки капризам природы и актеров – донести до экрана, не пролив, каждую каплю твоей замечательной или ужасной выдумки. И чем талантливее были бы мои студенты, тем больше я бы настаивал на том, чтобы сначала они научились снимать самое простое, элементарное и даже однозначное, как детские кубики. Осень,

ревность, жажда, азарт, смерть, похоть – тридцать метров пленки на каждое состояние души и природы. И только потом, когда они освоили бы эту азбуку, я позволил бы им снимать – по словам! – их первые сюжетные этюды. А затем, заставив их освоить киношные азы так свободно, как музыканты осваивают упражнения Черни, – только после этого я стал бы вводить их в алгебру настоящей режиссуры: в умение извлечь из литературного произведения и превратить в партитуру фильма ту особую киномузыку, которая и называется киноискусством. Потому что, конечно, одним арифметическим складыванием кубиков-сцен «кина» не сделать...

Впрочем, ладно, оставим теорию, вернемся в начало семидесятых...

Мы прилетели в Одессу, и в первый же день директор студии в честь знакомства и под мою коротенькую заявку на морской сценарий не только выдал нам аванс размером аж в тысячу рублей, но и доверительно показал мне очередной запрещенный фильм Киры Муратовой «Долгие проводы» с Зинаидой Шарко и Ниной Руслановой в главных ролях.

Я смотрел этот фильм один, поздно вечером, в закрытом директорском просмотровом зале. Когда я вышел на улицу, было уже десять вечера, черная южная ночь накрывала студию, ее низкие павильоны и каштаны за ее проходной. В каком-то кабинете горел свет, я заглянул туда, там сидела синеглазая красотка Нина Гусилевская, секретарша сценарной коллегии и одна из шести бывших жен Радия Гусилевского, режиссера детских фильмов. Я спросил у нее, где живет Кира Муратова.

– А в моем доме! – сказала Нина. – Ну, то есть в студийном, через дорогу от студии. Где я живу, Гусилевский, Тодоровские и Збандут. А Кира – на втором этаже, первая дверь слева.

Я вышел со студии. Морской ветер гнал по улице серые катышки тополиного пуха, и полная майская луна блестела в трамвайных рельсах, проходящих вдоль студийного забора. Я сел в подошедший трамвай и, нянча в душе каждый кадр «Долгих проводов» так, как нянчит – по словам Иосифа Уткина – «девочка больную куклу, как руку раненый солдат», отправился в центр города. Я хорошо понимал, что я только что увидел настоящий шедевр киноискусства. Шедевр, который никто не увидит никогда, потому что советская власть *никогда* не выпустит на экраны *такой* фильм. Это было непреложно, я был уже взрослый мальчик и знал правила игры.

В центре Одессы, где-то на Приморском бульваре, я нашел цветочный киоск, купил букет цветов и снова трамваем вернулся к студии. Четырехэтажный кирпичный дом, в котором жили Тодоровские, Гусилевские и все остальные студийные сотрудники, стоял напротив студийной проходной, в тени пышных каштанов. Я вошел в полутемное пыльное парадное и по стоптаным ступеням, вдоль ядовито-зеленой стены с выцарапанными на ней словами из трех и пяти букв поднялся на второй этаж. Слева от лестничной площадки была стандартная бурая дверь с номером 15 и черной кнопкой звонка. Приглушая колотившееся сердце, я нажал эту кнопку. С таким душевным трепетом звонят, наверное, поклонницы к Феллини, Матростройни и Вячеславу Тихонову.

Дверь открылась удивительно быстро, почти тотчас. За ней, подоткнув за пояс подол холщовой юбки, стояла невысокая, круглолицая молодая женщина с мокрой половой тряпкой в руках. У ее босых ног на мокром полу зияло ведро с темной водой, и капли такой же темной воды капали в это ведро с грубой мешковины ее половой тряпки.

– Простите, – сказал я, – Кира Муратова тут живет?

– Да, – сказала босая женщина. – Это я. – И тыльной стороной ладони убрала волосы с потного лба.

– Здравствуйте, это вам. – Я протянул ей цветы. – Я только что посмотрел ваш фильм и набрался наглости побеспокоить вас только для того, чтобы сказать: вы гениальный режиссер! Феллини, Антониони и вы! Пожалуйста, возьмите эти цветы. Это от всей души. И – счастья вам!

По-моему, она была ошарашена моим букетом не меньше, чем я ее половой тряпкой. Молча и каким-то замороженным жестом она взяла у меня цветы, и, прежде чем она успела сказать «спасибо», я поцеловал ее мокрую руку и тут же, как мальчишка, сбежал по гулкой лестнице вниз.

С тех пор прошло почти тридцать лет. Из них последние двадцать я прожил в Америке, но и до того, да и в последние годы, во время моих наездов в Россию, я не раз видел Киру Муратову то в Доме кино, то в Союзе кинематографистов. Но я никогда не подошел к ней, не представился и не напомнил о том букете цветов. Зато всегда, когда я вспоминаю Одесскую студию, я вспоминаю ее гениальный фильм и свой скромный романтический поступок в тот первый одесский вечер.

Но, начавшись так высоко, мой роман с Одесской киностудией вошел потом в смертельное пике.

Впрочем – не сразу. Сначала был медовый месяц, подкрепленный, как я уже сказал, мощным студийным авансом. Тысяча рублей были в то время гигантские деньги, даже больше, чем сейчас тысяча долларов. И мы с Жорой сорили ими, как майские тополя сорят тополиным пухом. Юный бармен Гена из ресторана Одесского морвокзала стал нашим лучшим другом и завсегдаем «Куряжа» – студийного общежития для приезжих режиссеров, операторов и актеров.

(Я буду последним литературным ничтожеством, если немедленно не остановлюсь и не скажу о «Куряже» хотя бы несколько возвышенных слов. Потому что двухэтажный барак «Куряжа» тех лет был эдаким южным гнездищем, в который слетались после ВГИКа кинематографические птенцы, чтобы, оперившись на Одесской студии одним-двумя удачными фильмами, отправиться на «Мосфильм», «Ленфильм» и студию Горького уже матерыми кинематографическими орлами. Именно тут в крохотных, как пенал, комнатках жили до нас Хуциев, Миронер и Тодоровский, когда делали свою «Весну на Заречной улице», а при мне, в 1970–1971 годах, тут обитали и гениальный оператор Киры Муратовой Гена Карюк, и оригинальный питерский композитор Олег Загальнюк с диковинной в те годы косичкой японского самурая, и герой Отечественной войны и всех диссидентских баталий в Союзе советских писателей поэт и кинорежиссер Григорий Поженян, и легендарный вгиковский бомж и кинорежиссер Валентин Казачков, и постановщик «инородных» для советского кино мюзиклов Юрий (Георгий) Юнгвальд-Хилькевич, и внештатный денди Черноморского флота Станислав Говорухин, и залетавшие к нему на съемку «Робинзона Крузо» Леонид Куравлев и Володя Высоцкий. Кто-нибудь из нас постоянно получал авансы, гонорары, постановочные или просто зарплату, и потому в «Куряже» всегда было много пришлого народа, каких-то прилетевших на кинопробы «старлеток», а также – вина, водки, жаренных на электроплитке мидий и ставриды. Но почти никогда тут не было никакой иной еды, и за хлебом нужно было бегать в студийную столовую. Зато по утрам и по ночам здесь истово стучали пишмашинки, здесь бесконечно репетировались сцены для завтрашних съемок, здесь вдохновенно сочиняли музыку и столь же вдохновенно занимались любовью, и Володя Высоцкий, лежа как-то на раскладушке в моей комнате, даже в хмельной отключке бормотал и выкрикивал во сне: «Идет охота!.. Идет охота на волков!.. Идет охота...». Да, «Куряж» тех лет был как бы продолжением вгиковского общежития, о котором мне еще предстоит где-нибудь рассказать...)

Итак, в результате нашей с Жорой недельной гульбы в ресторане Одесского морвокзала его бармен Гена уже был на ты со всеми кинозвездами, а я – с половиной спившихся моряков Одесского пароходства. И когда я терзал очередного из них своими вопросами о морском быте и работе, он вдруг сказал:

– Я знаю, кто вам нужен! Капитан Кичин! Пусть он расскажет вам свою историю! Как его наш КГБ употребил! Только черта с два вы про это кино сделаете!

– Да уж, конечно! Черта с два! – в унисон поддержали его остальные морские волки, сидевшие за нашим столом. – Но Кичин – это да! Это человек! Лучшим капитаном пароходства был!..

...Здесь я, по идее, должен поставить отточие и процитировать самого себя – свой очерк «КГБ и море», опубликованный в сборнике «Убийца на экспорт. Дюжина разных историй». Но этот очерк слишком велик для книги про игру в кино и просто задавит тот лирический одесский роман, о котором я собираюсь рассказать. А потому я лишь вкратце изложу историю капитана Кичина, а тех, кто захочет узнать подробности, отсылаю к этому очерку.

Итак, Евгений Кичин был самым молодым капитаном дальнего плавания в Одесском пароходстве. Осенью 1967 года на сухогрузе «Мытищи» он совершал свое тринадцатое плавание в Северный Вьетнам, вез вьетнамцам оружие. По дороге, примерно в двухстах милях на север от африканского порта Тулеар, во время жестокого ночного шторма его радист принял сигнал «SOS». Где-то поблизости югославское грузовое судно «Требинье» просило о помощи, посылая в эфир морзянку «SOS» и свои координаты. Кичин направил свой сухогруз в сторону терпящих бедствие. Но прошло не меньше двух часов, пока «Мытищи» пробились через шторм к нужной точке. И прошел еще час, пока в рассветной серости они нашли этот «Требинье», пляшущий на гребнях штормовых океанских волн буквально «без руля и ветрил». Черный столб дыма поднимался над судном, и никто уже не отвечал с него на запросы русского радиста. Но Кичин был обязан проверить судно, ведь кто-то мог остаться там в живых. И до рассвета кружил Кичин вокруг горящего судна, не понимая, почему молчит его рация, а утром мотобот с шестью моряками и старпомом ушел по штормовым волнам к горящему «Требинье». Когда они с третьей попытки и почти чудом пристали к «Требинье» и высадились на него, Кичин получил радиogramму капитана какого-то индонезийского судна: «Всем! Всем! Всем! Проходя мимо горящего судна „Требинье“, снял его команду. „SOS“ „Требинье“ отменяется, спасти его невозможно». А еще через несколько минут с «Требинье» пришло первое радиодонесение старпома: «Осмотрели все судно, нигде ни души. Горит только один трюм с хлопком, все остальное на судне в порядке. Жду приказаний».

Кичин понял своего старпома. По морскому закону, судно, оставленное командой, принадлежит тому, кто его нашел. Кичин связался с капитаном индонезийского судна и выяснил, что в четвертом трюме «Требинье» самовозгорелся хлопок, а в остальных трюмах, не тронутых пожаром, находятся медицинское оборудование и медикаменты на миллион долларов. Тогда Кичин собрал свою команду и сказал примерно следующее: «Мы можем бросить „Требинье“ и уйти дальше своим курсом. Но посмотрите, какой это красавец! Его сделали люди, они вложили в него свой труд и душу. Конечно, хлопок, который горит в одном из его трюмов, погасить нельзя, это все знают, поэтому команда бросила судно и ушла. Но если зацепить „Требинье“ буксирным тросом, отбуксировать в Танжер и там порталными кранами разгрузить горящий трюм, выбросить тюки горящего хлопка в море? А?»

Команда поддержала капитана – им всем нравился этот новенький красавец «Требинье». По приказу Кичина старпом спустил на мачте «Требинье» югославский флаг и поднял свой, советский. Но это было не самое трудное. Куда труднее было в штормовом океане взять на буксир гигантский двухсоттонный сухогруз. В тот момент, когда им все же удалось зацепить «Требинье» буксирным тросом, очередной штормовой вал вознес «Требинье» над «Мытищами», и нейлоновый трос лопнул, как гитарная струна. Однако на втором, запасном, тросе они все же умудрились протаскать «Требинье» до Тулеара. И всю дорогу, пока они шли в этой опасной связке через штормящий Индийский океан, начальник Одесского пароходства Петр Данченко решал с Министерством морского флота, нужно или не нужно спасать «Требинье». С одной стороны, такое судно, да еще с ценным медицинским грузом, конечно, стоит миллионы долларов, а с другой стороны, северные вьетнамцы, воюющие с Америкой, ждут оружие...

Но, по-видимому, кроме Кичина, оружие вьетнамцам везло еще не одно судно. Поэтому в тот же день, 5 октября 1967 года, «Правда» на своей первой странице расписала подвиг одесских моряков:

«...Подлинно героические усилия потребовались для того, чтобы в бушующем океане взять „Требинье“ на буксир. И сегодня в Индийском океане грохочет шторм, а экипаж сухогруза „Мытищи“, преодолевая все трудности, твердо держит курс на Мадагаскар, где в порту Тулеар завершит буксировку спасенного им югославского корабля».

Но в Тулеар Кичина не впустили. Точнее, не впустили горящий «Требинье» – портовые власти резонно решили не рисковать, ведь мало ли что может случиться, а вдруг этот «Требинье» вообще взорвется?

Кичин не отступил. Стоя на рейде Тулеара вместе с «Требинье», он подрядил сотню местных грузчиков выполнить работу портовых кранов, то есть вручную выгрузить тюки с горящим хлопком из трюма «Требинье».

И вот сотня лодчонок с дешевыми черными грузчиками пристает к «Требинье», и подъемный кран открывает запертые и раскаленные чуть ли не докрасна створки трюмного люка. И – пушечный сполох оглушает тулеарскую бухту. Запертый в стальном трюме и тюках спрессованного хлопка огонь получает, едва трюм приоткрылся, животворную дозу кислорода и буквально взрывается над судном мощным выбросом огня, дыма и пепла. Вся орава черных грузчиков разом сиганула с корабля в море и что есть духу помчалась на своих лодчонках к берегу, прочь от этого горящего ада!

Через пару часов, когда белый пепел горящего хлопка осел на зеленые морские волны, а языки пламени пали ниже уровня палубы «Требинье», команда «Мытищ» заменила сбежавших черных грузчиков. И сорок – сорок! – дней и ночей они своими руками выгребали из трюма эти тюки с горящим хлопком и выбрасывали их за борт. И если команда вела эту работу посменно, то капитан, понимая, какому риску он подвергает своих людей, все эти дни и ночи был на вахте. Через сорок дней он послал в Одессу радиограмму: «Спасательные работы закончены. Прошу прислать буксирное судно для буксировки „Требинье“ в Одессу. Также прошу разрешить потратить от 4 до 5 тысяч долларов на награждение ценными подарками моряков, проявивших героизм при спасении ценного судна и его груза. Кичин».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.